

[Polaris]

ЯКОВ ОКУНЕВ



**ГРЯДУЩИЙ МИР
КАТАСТРОФА**

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

VIII



Salamandra P.V.V.

**Яков
Окунев**

ГРЯДУЩИЙ МИР КАТАСТРОФА

Иллюстрации Н. Акимова

Послесловие М. Фоменко

Salamandra P.V.V.

Окунев Я. М.

Грядущий мир. Катастрофа. Илл. Н. Акимова. Послесл. М. Фоменко. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2013. – 208 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. VIII).

Гений анабиоза, профессор Моран, отправляет в будущее свою смертельно больную дочь Евгению и рефлектирующего интеллигента Викентьева... Революционная буря сметает последних капиталистов Америки... Чем завершатся небывалые социальные и медицинские эксперименты? Что увидят люди 1923 года в году 2123?

Роман Я. Окунева «Грядущий мир» называют первой советской утопией. В книгу включена также фантастическая повесть «Катастрофа» – вариация на темы «Грядущего мира» с описанием революционных катаклизмов.

В послесловии прослеживается влияние утопии Окунева на советскую фантастику 1920-х-1960-х гг.

© М. Fomenko, послесловие, 2013

© Salamandra P.V.V., состав, оформление, 2013

ОКУНЕВ

Грозный

ПОРАЖАЮЩИЙ

Наш
ПРОФ
работан
анабиоза,

ГАЗ, но

ним, положит на свою по-
разительной эре в мире.
При помощи газа при по-
соре Морана можно по-
гнуть анабиозу и даже
ЛЯГУШЕК и др.

но и высшие организмы,
даже человека. Но что ЕЩЕ
БОЛЕЕ ПОРАЗТЕЛЬНО
находящееся в достоянии
анабиоза животное возвра-
щается к жизни само собою
без посторонней помощи
тотчас в заранее опреде-
ленный, точно рассчита-
нный срок, при чем срок
может быть вант для ана-
биостического состояния
накой угодно, в несколь-
ко часов и НЕСКОЛЬКО
СТОЛЕТИЙ.

1923—1923

ГРЯДУЩИЙ МИР

1923 - 2123

Утопический роман



Часть первая.

I

аз профессора Морана.

— Алло!

— Алло! У телефона профессор?

— Да, я — Моран. Что угодно?

— Я — Викентьев.

— Викентьев? Не имею понятия... Впрочем... Ага! Это о вас говорил профессор Звягинцев?

— Я самый...

— Ну?

— Я согласен.

— Вы посвящены во все? Вы не боитесь? Твердо решили?

— Да, профессор.

— У вас нет ничего, что связывало бы вас? Ведь это на двести лет. У вас нет близких?

— У меня нет никого. Разрешите прийти к вам.

— Хорошо. Сегодня между шестью и восемью. Не раньше и не позже. Адрес...

— Я знаю. Мне сказал профессор.

— Жду.

— До свиданья, профессор.

Отбой. В разных концах огромного города два человека почти одновременно положили телефонные трубки.

Викентьев — высокий и плоский, узкие плечи, лицо тусклое, серое, точно покрыто пылью, на впалых щеках пламенные пятна лихорадки, глаза горят беспокойным блеском.

Профессор Моран — жизнерадостный, звонкий катышек, словно налит ртутью; черные волосы на висках припудрены сединою, усы подстрижены по-английски и прохвачены изморозью, но черные агатовые глаза живы и молоды.

В кабинете профессора пахло сигарой, плыли и таяли опаловые кольца дыма. Но что это за странный, едва уловимый аромат? Эфир? Или, может быть, хлороформ? Тошноватый вязкий запах. Но в этом запахе примешан запах каких-то цветов, как будто ландышей, только сильнее, гуще. Он не неприятен, этот запах, немного пьянит и вызывает легкое головокружение.

У дверей в соседнюю комнату, задернутых серой суконной портьерой, этот запах сильнее, ощутимее. Это не только запах — это холод. Холод струится из-за портьеры, как будто там за дверьми ледник. И когда разговаривают у этих дверей, из-за них отдается глухой отголосок. Может быть, там пустой холодный огромный зал?

Три месяца тому назад в одной очень распространенной газете сделали шум. Под крупным заголовком было напечатано вот что:

✎ ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ! ✎
НАШ ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ
ПРОФЕССОР МОРАН
РАБОТАЮЩИЙ НАД ОПЫТАМИ АНАБИОЗА
ОТКРЫЛ ОСОБЫЙ ГАЗ
КОТОРЫЙ, ПО ИМЕЮЩИМСЯ У НАС СВЕДЕНИЯМ,
ПОЛОЖИТ НАЧАЛО ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ ЭРЕ В НАУКЕ.

ПРИ ПОМОЩИ ГАЗА ПРОФЕССОРА ЖОРАНА

**МОЖНО ПОДВЕРГНУТЬ АНАБИОЗУ НЕ ТОЛЬКО ЛЯГУШЕК
И РЫБ, НО И ВЫСШИЕ ОРГАНИЗМЫ, ДАЖЕ ЧЕЛОВЕКА.**

НО ЧТО ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОРАЗИТЕЛЬНО

НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОСТОЯНИИ АНАБИОЗА ЖИВОТНОЕ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИЗНИ САМО СОБОЮ

БЕЗ ПОСТОРОННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ, ТОЧНО РАССЧИТАННЫЙ СРОК

**ПРИ ЧЕМ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТ ДЛЯ АНАБИОТИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КАКОЙ УГОДНО**

В НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ И НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ.

Профессор возмущен. Весь день телефонные звонки! Корреспондент такой-то газеты извиняется за беспокойство, но... Профессор бросает трубку. У подъезда — господин в котелке, с портфелем. Поклон, улыбка собаки, ждущей подачки. Господин не задержит профессора. Несколько слов... Открытие профессора очень интересует прессу. Не окажет ли профессор любезность?.. В интересах науки... Профессор вскакивает в пролетку первого попавшегося извозчика и называет вымышленный адрес.

Потом — эти письма! Дождь писем! Разочарованная дама не видит никакого смысла в жизни среди современных условий и потому желала бы... Поэт страстно желает взглянуть в тайну грядущего, и если анабиоз не опасен для здоровья, то... Анархист, неспособный на компромиссы, не мирится с подавлением личности, а и царстве будущего... Делец предлагает выгодное дело на широких началах...

В корзину, в корзину все эти идиотские письма!.. Но их поток не прекращается, он растет, это какая-то бумажная Ниагара!..

Профессор убедительно просит редакцию напечатать опровержение. Заметка о газе является плодом недоразумения. Профессор Моран работает десять лет над вопросом об анабиозе, но пока дело дальше лабораторных опытов не пошло, преждевременно говорить о каком-либо значительном открытии.

Из редакции отвечает звонкий молодой тенор. Ах, это профессор Моран? Сам профессор? Тысячу извинений! С профессором говорит помощник редактора. Сию минуту подойдет редактор. Через минутку в телефоне гремит бас. Не разрешит ли профессор лично редактору — лично! — заехать к нему по поводу опровержения? Зачем? Редакция располагает авторитетнейшими данными в доказательство того, что заметка о газе не выдумка...

Трубка с грохотом падает на крючок аппарата. Профессор посылает редактора к черту.

Самое неудобное обстоятельство во всей этой истории, — что профессор знает, где зарыта собака. Если хочешь сохранить тайну, не следует делать докладов даже в таком кружке специалистов, даже под условием сохранения тайны.

После короткого разговора по телефону с редактором, профессор Моран выпалил наедине в своем кабинете весь свой наличный запас крепких выражений, выкурил одну за другой две сигары и решил, что дело, в сущности, не стоит выеденного яйца.



— Я — Викентьев.

— Отлично. Вы аккуратны. Садитесь в это кресло. Курите? Нет? Прекрасно!

У профессора зажжена кабинетная лампа. Она поворачивается вот так. Вся комната пропадает в темноте, свет золотит только один угол и выхватывает из этого угла лицо Викентьева.

Из темноты хорошо видно, что у Викентьева суровый рот. Тоненький алый шнурочек губ сбегает по краям вниз. Иногда он дрожит, этот шнурочек, дергается в легкой судороге, чуть-чуть размыкается и показывает ровный белый ряд зубов. Этот человек не умеет смеяться.

Профессор делает вывод:

— Отлично! Очень...

И потирает свои маленькие сухие ручки, точно умывая их.

— Вы хорошо взвесили?

Викентьев вздергивает узкими плечами и перебивает профессора:

— Я уже говорил вам об этом. Взвесил! Обдумал! Решил!

— Вы никому не говорили?

— Мне некому сказать. Я совсем одинок. Как в пустыне...

Алый шнурок крепко сомкнулся. Синие утомленные веки опустились и закрыли на минуту глаза.

— Очень хорошо, господин Викентьев. Но, может быть, вы хотите знать, насколько гарантирована ваша жизнь?

Профессор ошибся. Этот человек иногда смеется. Но какой смех! Оскал зубов. Несколько коротких, хныкающих звуков:

— Хмы-хмы! Через двести лет? Не все ли равно?

У стены стоит большой дубовый шкаф. Профессор возится у шкапа и подает Викентьеву сначала шубу, потом шапку с наушниками, потом противогазную маску:

— Наденьте это.

— Зачем?

— Мы пойдем в лабораторию. Я покажу вам опыт, чтобы вы убедились... то моя нравственная обязанность.

Профессор тоже напяливает на себя шубу и шапку, и становится еще круглее.

— Маски пока не надевайте, — говорит он. — Возьмите ее с собой.

За тяжелой портьерой — дверь, обитая войлоком и клеенкой. Там, за этой дверью, такой холод, что как только профессор открывает ее, седые облака пара врываются в кабинет.

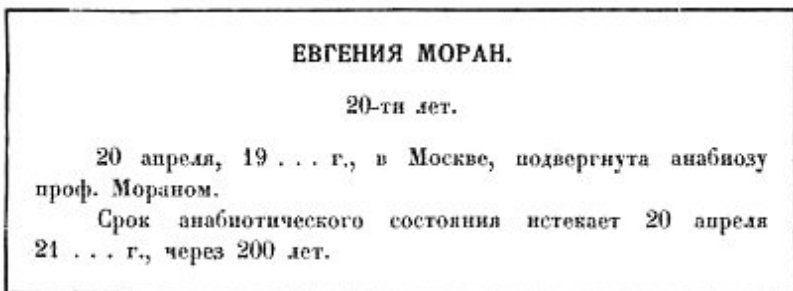
Поворот выключателя. Вспыхивает люстра на потолке и льет мертвый, синий, как пламя спирта в темноте, свет.

Среди столов со стеклянными ящиками, среди огромных тонкогорлых бутылей и металлических цилиндров, среди путаницы ремней, соединяющих маленький динамо с нагнетательными приборами, среди банок, колб, среди змеевидных, спиральных, дугообразных трубок — среди всего этого хаоса — тесно.

Горячие глаза Викентьева скользят с предмета на предмет и вдруг впиваются в огромную гробницу, занимающую чуть ли не половину лаборатории. Точно два факела горят теперь глаза Викентьева.

Боковые стенки гробницы из какого-то черного гладкого металла, верхняя крыша — прозрачна. Гробница наполнена голубовато-молочной мутью.

На передней стенке серебряная дощечка. На ней выгравировано:



Агатовые зрачки профессора потускнели. Глухо и надломленно прозвучал его голос:

— Моя дочка. Была безнадежно больна... Туберкулез... Через 200 лет она будет жить.

— Но эта болезнь! У меня тоже туберкулез. — Кончики тонких губ Викентьева скорбно опустились вниз.

— Анабиоз убивает бактерии.

Агат в глазах профессора опять заблестел. Голос окреп. Он подошел к гробнице.

— Видите, верхняя пленка гробницы сделана из очень тонкого прозрачного состава. Особое приготовление. Выдерживает колоссальное давление. Здесь двести таких пленок в гробнице герметически припаяны к ее стенкам. Между пленками полевые пространства разной емкости, но не более одного миллиметра в высоту, наполненные газом разной плотности. Чем ближе к крыше, тем емкость полостей больше, тем плотность газа меньше, тем пленки тоньше. Одно из свойств моего газа то, что упругость его растет через определенные, точно высчитанные промежутки времени. Чем плотнее газ, тем быстрее растет его упругость. Значит, в нижних полостях упругость газа растет скорее, а в верхних — медленнее. Итак, что произойдет через год после начала анабиоза? Через год упругость газа в самой нижней полости будет такова, что под давлением газа снизу, первая пленка разлетится в мельчайшую пыль. Действие давления газа на вторую пленку рассчитано на 2 года, на третью — на три года и так далее. Значит: верхняя пленка лопнет ровно через 200 лет. Точка в точку! Высчитано! Проверено! Как часы! Ни минуты опоздания!

Глазки профессора метали огненные стрелы. Он бегал вокруг гробницы и размахивал, как крыльями, своими коротенькими ручками.

Викентьев разжал свои тонкие губы и чуть-чуть улыбнулся. В глазах его был вопрос.

— Ну? Ну? — спросил профессор. — Для вас что-то не ясно?

— Да. Как же она живет?

— Вы слышали о жидкости Локка? Нет? Еще в 1895 году Лангендорфу удалось восстановить деятельность сердца, вырезанного из организма животного, путем пропускания в сосуды жидкости Локка. Рут усовершенствовал этот способ. Жидкость Локка состоит из солей и виноградного са-

хара, подходящих по составу к кровяной сыворотке. Она насыщается кислородом, подогревается до 37-39° и проникает по трубочке через аорту в венозные сосуды сердца; мышцы сердца, получив необходимую им пищу, начинают сокращаться. Сердце начинает биться и гнать кровь по венам и артериям.

— Но факты! Факты! — перебил профессора Викентьев, кривя свой тонко-алый шнуручек...

— Сколько угодно, мой милый. В 1902 году русский физиолог, профессор Кулябко, вырезал сердце из кролика через 14 часов после его смерти. При помощи Локковской жидкости сердце было возвращено к жизни и проработало 3 часа. Его положили в лед. Через 46 часов его опять оживили. Тот же ученый вырезал сердце умершего от удушья трехмесячного ребенка и через двое суток оживил сердце. В 1905 году Геринс и Денеке оживили сердце взрослого человека. Доктор Соловцов в Москве пошел дальше: он оживил кишечник трупа — кишечник переваривал пищу.

— Но пока мозг мертв, трудно добиться полного оживления, — возразил Викентьев.

— Правильно! Извольте! Куссмауль, Теннер, Мейер и Броун-Секкар добились оживления нервной системы. Вот сказочный невероятный опыт Броун-Секкара. Он отсек голову собаки, затем восстановил в отсеченной голове кровообращение. Голова ожила. Когда собаку назвали по имени, глаза ее — в отсеченной голове, повернулись в сторону зовущего. Профессор Андреев в Москве удушил собаку. Через 20 минут после ее смерти он начал вливание Локковской жидкости в ее артерию, ведущую к сердцу. Началось сокращение сердца, потом биение пульса, потом дыхание и, наконец, животное ожило. Андреев проделал ряд таких опытов, и все они дали удачные результаты. Итак, пока организм не подвергался разложению, его можно оживить*.

— Еще один вопрос, — заметил Викентьев. — Из вашего объяснения видно, что для оживления необходима посто-

* Все приведенные опыты оживления не представляют собой вымысла автора (*Прим. ред. оригинального изд.*).

ронняя помощь. Кто же через 200 лет оживит вашу дочь, меня?

— Слушайте внимательно! В углу гробницы находится металлический бидон, соединенный трубочкой с телом. В бидоне бутылъ, наполненная усовершенствованной жидкостью Локка и насыщенная кислородом. Стенку бутылки облегчает особая ткань, абсолютно не пропускающая тепла и сохраняющая, таким образом, температуру жидкости, нагретой до 39 градусов. В трубочке — кран. В момент соприкосновения с внешним воздухом, сжатый воздух, находящийся в трубочке, открывает кран. Трубка соединена с сосудами сердца. Жидкость проникает в сердце. Оно начинает биться. Жизнь восстанавливается. Часовой механизм, находящийся у места соединения трубочки с телом, обрывает ее и закупоривает ранку. Поняли? Э, да вы умеете улыбаться!

Да, Викентьев улыбался. Широкая возбужденная улыбка. Две алые розы горят на щеках.

— Профессор! Это похоже на чудо!

— Ну, вот еще! Сейчас я покажу вам настоящее чудо.

— Пожалуйста сюда, налево.

— Есть!

— Видите эту маленькую гробницу?

— Да! В ней как будто находится собака?

— Это мой песик Неро. Анабиоз на 5 лет. Сейчас мы прервем анабиоз. Наденьте маску и не раскрывайте рта.

— Готово!

Профессор пускает в ход электрический вентилятор в стене над окном. Потом берет большой пудовый молот, и с размаху опускает его на крышку гробницы. Еще удар, еще. Глухой звук и крыша разлетается. Газ со свистом вырывается из гробницы. В голубовато-молочной мути тускнет свет люстры. Мороз колет острыми иглами лицо, щиплет

руки, струится холодным потоком под шубу. Газ ревет, вырываясь через вентилятор на улицу. В ушах больно, давит на мозг сжатый воздух.

Профессор следит за манометром. Ртуть в манометре медленно спадает. Становится легче. Теплеет.

— Снимите маску.

Торопливыми движениями профессор снимает ткань с животного. Большой белый пудель лежит, вытянув передние лапы и уткнув в них морду. Резиновая трубка струит жидкость в сердце. Профессор прикладывает к сердцу собаки слуховую трубку и приникает к ней своим розовым ухом. Через пять минут его напряженное лицо светлеет. Он передает трубку Викентьеву.

— Послушайте-ка!

Едва уловимые толчки. Сердце бьется. Еще пять минут, и в слуховую трубку проникает шум пробуждающихся легких. Собака чуть-чуть открывает пасть. Между сжатыми зубами трепещет розовый треугольник языка. Черная кожа носа начинает лосниться от слизи. Размыкаются узкие щелки глаз, и они загораются, точно искры снега.

— Неро!

Глаза собаки раскрыты, мутные, затянутые опаловой пленкой.

— Неро! Неро!

Пленка тает. Зрачок дрожит, поворачивается к профессору. Слабое движение хвоста.

— Неро! Сюда!

Все туловище собаки трепещет. Хриплый звук. Еще. Звук яснее.

— Р-р-р! Г-гав!

— Сюда! Сюда!

Собака с усилием встает на слабые, дрожащие лапы. Резиновая трубка отпадает. Собака поворачивает голову, высовывает красный лоскут языка и лижет ранку под пахом левой передней лапы.

— Сюда! Неро, сюда! — хлопает себя по колену профессор.

Она соскакивает на пол и, еще слабая, идет, шатаясь, за профессором.

II.

Профессор Моран усыпляет Викентьева.

Сегодня агатовые глаза профессора полны беспокойства. В кабинете все утонуло в сизом сигарном дыму. Профессор мечется. Топ-топ-топ, — дробно стучат его каблуки по паркету. Подбежал к телефону. В нетерпении стучит ладонью по вилке аппарата.

— Барышня! Наконец-то! 35-26. Благодарю.

Минуты две ожидания. Пуф-пуф — вылетают клубы дыма из сложенных красной трубочкой, губ профессора.

— Это я, Моран. Позовите Константина Петровича. Его жена? Константин Петрович ушел ко мне? Очень хорошо.

Викентьев сидит в кресле, вытянув свои длинные ноги. Сзади, в окно, бьет солнце и обводит его фигуру огненным шнурком. Он опустил свои голубоватые веки и свесил руку, синюю, со вздувшейся жилой. Совсем мертвое лицо, бледное, с шафрановым оттенком на лбу и висках.

— Один ассистент уже вышел из дому. Второй пропал где-то.

Викентьев раскрывает веки, тускло смотрит на сюртук профессора.

На сюртуке профессора дрожит золотая рябь — отблеск пылающего окна, и неожиданно спрашивает:

— Через двести лет... Будет ли тогда солнце таким же пылким?

Профессор рассеянно слушает его; он занят своей тревогой.

— Через двести лет, мой друг... Куда же делся этот неряха Малахов? Экая неаккуратность!.. Вы о чем-то спрашиваете, Викентьев?

— Пустое!

Профессор слышит звонок. Топ-топ-топ. — Он у двери. Звякает цепочка.

— Ну, и задам же я вам!.. Ага! И Малахов тут? Вот хорошо, друзья мои!

Малахов фундаментален; широкое лицо цвета сырой говядины в взбитой пене седины волос, усов, бороды — всюду волосы. Они торчат пучками из ноздрей и кустятся над бровями, они растут на руках и на шее. Нос у него туплей и испещрен синими жилками. Огромный нелепый галстук выскочил из запонки. Мясистые руки прут из манжет.

Ткнув желтым от табаку пальцем с темной каемкой на ногте в Викентьева, спросил:

— Вот это он самый?

— Викентьев. Профессор Малахов, — представляет их друг другу Моран.

Монумент мотает своей снежной головой:

— Ладно!

И, сопя, садятся на кушетку, которая скрежещет под его тяжестью всеми своими пружинами.

Звягинцев, Константин Петрович, — как будто только что был в парикмахерской. Пахнет одеколоном; аккуратно выбритые щеки пухлы и розовы; белокурые волосы, зачесанные вверх, блестят. Новенький синий костюм, свежевыутюженные брюки, слеза бриллианта в черном галстуке, лакированные ботинки с желтыми гетрами.

Он весь сверкает. Сияют пенсне, бриллиант, сверкают лакированные ногти. Улыбнулся, — желто блеснули коронки золотых зубов.

— Позвольте представиться — профессор Звягинцев.

Щелкнул каблуками, сломался пополам,дохнул на Викентьева мятными лепешками, выпрямился.

Из лаборатории доносится мерное дыхание динамо, пущенного в ход. К нему примешивается свист четырех нагнетательных насосов, накачивающих выработанный газ в баллоны. Двести таких баллонов, точно артиллерийские снаряды, с газом стоят в кладовой, рядом с лабораторией. Уже приготовлен металлический ящик и двести пленок.

Тонкий алый шнурочек губ горяч и сух. Тревожно мечется сердце. Неожиданные мысли: будет ли через двести лет Москва, Россия? Отчего сегодня так жалко солнце? Завтра Викентьев не увидит его. Двести лет оно не будет существовать для него. Небытие на двести лет. Что такое небытие? Сон? Тьма? Нет, ни сон, ни тьма, а что-то такое вне человеческого представления.

Из-за портьеры высунулась голова профессора Морана.
— Готово. Идите в лабораторию.

Ноги словно из ваты. В голове назойливо звенит мотив какой-то песни.

Этот белый операционный стол и три профессора в белых халатах. Больничный запах карболки и эфира. У профессора строгий, ледяной вид.

— Разденьтесь, Викентьев.

Неслушающимися пальцами Викентьев неловко и медленно раздевается. Желтое худое тело в зябких пупырышках. Неприятно смотреть на свои ноги с изуродованными обувью пальцами.

— Лягте на стол. Так. Вытянитесь.

Изящный Звягинцев трудится над Викентьевым, вытирая его тело губкой со спиртом. Малахов, засучив рукава, варит на спиртовке стальной ланцет. Моран смотрит на Викентьева. Его агатовые глазки теплеют.

— Мы сейчас захлороформируем вас. Может быть, вы хотите что-нибудь сказать... передать?..

Викентьев с трудом раскрывает слипшиеся губы. Голос хрипл:

— Мне нечего передать. У меня никого нет.

Моран протягивает ему руку:

— Прощайте, милый мой!

Неожиданно наклоняется над ним, дышит запахом сигары и, уколов его щетиной усов, целует в губы. Малахов у спиртовки грохочет.

— Экие нежности! Терпеть не могу!

На лицо Викентьева наложена маска. Вяжущий, сладкий, тошный запах. Далеко, словно из-под подушки, доносится голос:

— Считайте, Викентьев.

— Один, два, три...

Ярко-голубые пятна перед глазами. Тело наливается тяжестью и ленью, становится чужим. В ушах тонкий комариный звон; он становится ярче, звонче, шире, наполняет голову.

— Четыре... пять... шесть...

Язык шершавый, тяжелый. Во рту сладкая слюна. Стол плывет мягкими волнообразными толчками вверх, потом в сторону.

— Пятнадцать... девят-над-цать, — мелет непослушный язык, — двадцать семь...

В засыпающем мозгу слабой искрой затлелся протест: «Зачем? Не нужно! Не хочу!» И потухло.

Малахов серьезен и хмур. Наклонившись над Викентьевым, он работает. Сверкает металл ланцета. Алая струйка пятнит белый стол. Малахов нажимает ранку.

— Прибор! — рокошет он.

Резиновая трубка прибора присосалась к ранке. Моран и Звягинцев торопливо обвертывают тело Викентьева в красный шелк, потом все трое несут его вместе с аппаратом к саркофагу и осторожно опускают на дно.

На передней стенке саркофага просверлено двести отверстий, одно под другим, с клапанами, открывающимися внутрь. На задней стенке — двести отверстий. Клапаны открываются наружу.

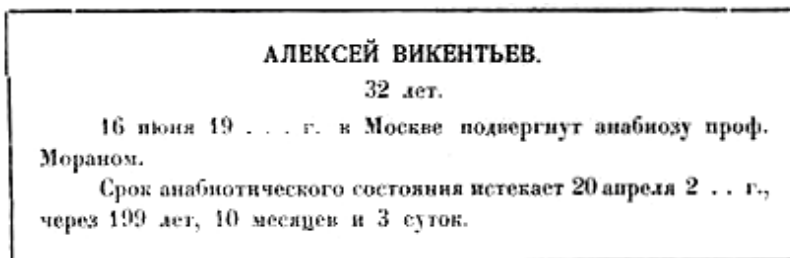
Моран и Звягинцев накладывают на выемки внутри саркофага первую пленку. Моран заливает какой-то черной, мгновенно твердеющей массой края первой крышки.

Первая полость готова. Моран привинчивает трубку нагнетательного насоса к крану на передней стенке саркофага. Газ со свистом врывается в полость. Через отверстие на

противоположной стенке выпирает воздух. Фигура Викентьева тонет в молочно-голубой мути.

Готово! Кран отвинчен, оба отверстия на стенках запаяны. Накладывают вторую пластинку и повторяют ту же работу.

Четыре дня работают они над гробницей, как простые рабочие. Профессор Моран прикрепляет к стенке гробницы дощечку:



Дочь профессора, очнувшись в Мире Грядущего, ни одного дня не будет одинокой: у нее есть спутник в царство Грядущего Мира. Он очнется в один день и в один час со своей подругой, и оба одновременно предстанут пред новым человечеством, как посланцы старого мира.

III.

На дне океана.

Профессор не любит шума вокруг своего имени. Это мешает ему работать. А между тем, газетчики обладают изумительно тонким нюхом. Они знают обо всем, что делает профессор в тишине своей лаборатории. Они печатают статьи с крикливыми заголовками о его опытах. Где бы ни появился профессор, фотографы-корреспонденты тут как тут, и уже щелкают под самым его носом своими кодаками.

Особенно невыносимо стало в последнее время, после усыпления Викентьева. Непостижимо, непонятно, как это могло случиться! В ряде иллюстрированных журналов появились сенсационные снимки:

«Профессор Моран в своем кабинете с господином Викентьевым».

«Профессор Моран усыпляет г. Викентьева».

«Снимок с гробницы, в которой находится подвергнутый анабиозу Викентьев».

Одна большая влиятельная газета выразила свое возмущение. Опыты профессора Морана граничат с преступлением. Взять взрослого, здорового, полноправного члена общества и подвергнуть его анабиозу! Где гарантии, что эти опыты безопасны для жизни и здоровья? Зачем существует прокурорский надзор?

Прокурорский надзор? Он постучался в двери квартиры профессора в виде скромного посыльного с книгой. Распишитесь в получении повестки от следователя.

В 11 часов утра профессор должен был оторваться от своих занятий и прогуляться в камеру судебного следователя. Следователю угодно знать, известно ли что-нибудь профессору об Алексее Федоровиче Викентьеве, а если известно, то чем он докажет, что над А. Ф. Викентьевым не учинено насилия?

Профессор вытаскивает из бокового кармана белый лист, сложенный вчетверо. Нотариус такой-то удостоверяет, что сего числа г. А. Ф. Викентьев собственноручно, в присутствии нотариуса, подписал настоящий документ.

Итак, насилия не было. Прокурорскому надзору нет никакого дела. Тысяча извинений! Вы свободны.

Скромный следователь сделал свое дело. Но газеты не успокаиваются. Телеграф выстукивает:

— Профессор Моран победил смерть! Величайшее открытие.

Радио разносится по всему миру. Изумительные вести ловят вышки радио-станций:

— Победа над небытием! Газ профессора Морана...

По подводным кабелям, по телеграфным, по телефонным проводам, — везде миллионы раз звучит:

— Профессор Моран...

— Газ профессора Морана...

Поэты поют в стихах:

«Кто хочет перескочить через столетия? Кто волен заглянуть в грядущее? Разве это не стало возможностью? Моран сделал человека властелином над вечностью».

И биржа... Какое дело бирже до анабиоза? Но русский профессор Моран открыл ценный газ бессмертия. Русские бумаги идут в Лондоне. Как котируется бессмертие на бирже?

Бессмертие? Позвольте! Разве его нельзя купить за деньги — за марки, за франки, за стерлинги, за доллары? Два миллиардера вызывают по радио профессора. Они желают заказать бессмертие. Сколько угодно франков, фунтов, долларов?

Бессмертие? Коронованные выродки создавали подделку бессмертия, путем бальзамирования своей миропомазанной мертвечины.

Министр двора испанского короля напал на великую идею. Он телеграфирует профессору. Его величество на смертном одре. Вся страна истекает слезами. Профессор утешит страну. Бессмертие его величеству — звезду на грудь профессора. А если расширить эту идею до массового изготовления консервированного запаса королей для грядущих поколений?..

Профессор отвечает коротко, точно ударом кнута по коронованной физиономии:

— У меня не похоронное бюро и не консервная фабрика! Его величеству! Магнатам мира! Какая дерзость!

Один из магнатов — нефтяной король. Его рыхлое большое тело, его свиные глазки цвета запыленной стали; его вспухшее лицо, синее, бугристое, изъеденное волчанкой; его оттопыренные, как ручки вазы, красные уши; его яйцевидный блестящий череп — все это, заключенное в пространство между башмаками и цилиндром, носит громкое, известное во всех пяти частях света имя — Эдвард Гарринг-

сон. Миллионы рабов, насквозь пропитанных нефтью и маслом, несут ему ежечасно, ежеминутно, ежесекундно тысячи долларов. Движением пухлого короткого пальца Эдвард Гаррингсон повергает в панику все биржи мира.

Другой магнат — король свиней. Да, да, у него одна четверть свиного населения мира! Своим существованием он оказывает честь человечеству и смотрит на мир с вышины своего саженого тела, с длинными, похожими на ножницы в брюках, ногами. Путешествуя по Египту, он купил гробницу фараона Аменофиса III. Он привез эту гробницу к себе в Чикаго. Он приказал из этой гробницы сделать для себя ванну. Свиной король принимает ванну в гробнице фараона Аменофиса III.

Разве эти великие люди не достойны бессмертия? Но профессор, очевидно, иного мнения. Он возмущен, черный агат в его глазах пылает. Он мечется по кабинету и дымит, дымит сигарой:

— Свиньи! Когда же они оставят меня в покое, черт бы их всех взял!

Цивилизация имеет свою оборотную сторону. Цивилизация суетлива и криклива.

Идея! Канада! Именно, Канада! Лоно природы в 48 часов езды ох клокочущего мирового центра, от Нью-Йорка. Ну да, ну да, надо уехать в Канаду на время!..

Упакованы гробницы, препараты, приборы и машины, наложена виза на паспорте. Профессор любезен, общителен, разговорчив. Сощутив свои агатовые глаза, он сообщает корреспондентам Москвы:

— Я еду в Филадельфию.

Телеграфисты выстукивают:

— Профессор Моран едет в Филадельфию для продолжения своих опытов.

В Гамбурге профессор горячо жмет руку корреспонденту:

— Уверяю вас, что это была газетная утка. Я еду в Чикаго. Необходимо личное присутствие при изготовлении нового прибора для моих опытов.

Радио-станции перекликаются:

— Профессор Моран едет в Чикаго...

- ...едет в Чикаго...
- ...в Чикаго...
- ...новый прибор...
- ...профессор Моран...
- ...в Чикаго...

В Лондоне профессор удачно меняет свой паспорт, удачно спасается от корреспондентов, удачно садится на пароход, отправляющийся в Канаду, и едет в Квебек.

А радио продолжает свою переключку:

- ...В Чикаго...
- ...едет в Чикаго...
- ...Профессор... в Чикаго...

Маленькое аспидно-серое облачко, похожее на грибок, выросло над призрачной зеленой гранью между океаном и небом. Сущие пустяки! Небо — васильковое. Океан — в золотых спиралях. Солнце кроет янтарным лаком палубу четырехэтажного «Атланта», зажигает огни на стеклах кают. Ультрамарин, изумруд, золото.

На палубе: равнодушные квадратные лица англичан, итальянские черные миндалевидные глаза; белокурые усы немца, закопченные сигарой; узенькие щелочки, а в них юркие черные жучки — зрачки японца; ленивый серый взгляд славянина; резко сломанный хищный нос грека. Над палубой гул; смешались каркающие, лающие, свистящие, звенящие, чмокающие звуки. Точно ожерелье катится со ступеньки на ступеньку — звенит молодой женский смех.

И везде золото — иглы золота в волосах, нити золота и лохмотьях, золотые слезы в глазах, золото рассыпалось червонцами по палубе.

Аспидно-серое облачко поднялось выше.

Зал первого класса. Тонкий звон стакана, лязг ножей и вилок, позвякивание ложек и чавканье, чавканье... Запах мяса, сигар, вина.

Бритый сизый американец в смокинге положил ноги с огромными квадратными подошвами на столик, опрокинулся назад в кресло, утонул в туче синего дыма. Томно закрыв глаза, он предается пищеварению.

Немец, рябой, как рябчик, от панталон с манжетами внизу до пиджака включительно, шуршит газетой, полулежа на кушетке и задумчиво звенит:

— Три-ди-дам... Дри-ди-ри...

...Аспидно-серое облачко, похожее на гриб, раздуло свою шапку.

Солнце — медь. Красная медь. Медный таз опустился в ультрамарин и расплавил его. Далеко, на грани налившегося кровью неба, вспыхнул расплавленный металл.

Небо налилось густой синевой и засеялось огненной россыпью звезд. Расплавленный металл погас, остыл, потемнел.

В зале I класса тонко поет скрипка. Звонкими каплями вторит пианино. Скрипка поет выше-выше, звук реет над золотым маком, рассыпанным по темно-синему дну опрокинутой чаши неба, замирает где-то страшно высоко. Сухо трещат аплодисменты.

В зале I класса — концерт. А на палубе всех наций, веющих за океан свои руки, гремит духовой оркестр.

«Атлант» режет темно-зеленую грудь океана, взбивает винтами седые вихры на зеленых бутрах и несется, сияя чептырьмя ярусами желтых глаз.

Профессор перегнулся через перила и смотрит на убегающие пряди волн. Он давно стоит так и давно следит за меняющимися красками моря и неба. Они гаснут, меркнут эти краски: черное крыло расправляется по шире неба и гасит огоньки звезд. Пол под ногами начинает плыть вперед-назад, вперед-назад. Океан вздрагивает, где-то там внизу, шевелится, встряхивается и плюет на палубу соленой пеной. И вот он заговорил многоголосым рокотом, громко и гневно... Темнота липнет к бортам, наливает палубу, дуговой фонарь тускло расплылся желтым, мутным пятном. И еще чернее становится, все пропало в тумане — палуба, трубы, борта: только кусочек места, кусочек перил, сжатый рука-

ми Морана, и клочок пола под его ногами мчатся в черную ночь.

Был маленький аспидно-серый грибок облачка на краю океана. Только всего...

Почему оборвался оркестр, не закончив вальса? Отчего ревет сирена? Океан задышал ледяным холодом. Наверху, над головой, вспыхнул прожектор и проткнул белым мечом стену тумана. Побежал направо, налево, пошарил у бортов и выхватил кусок черной водяной горы, нависшей над пароходом. Пароход взобрался на эту гору, повис над провалом и стал быстро скользить вниз со стоном, со скрежетом, с лязгом, точно лопааясь по всем швам.

Профессора окатило соленой водой. Цепляясь за перила, он пополз к сходням в каюты первого класса. Опять на палубу опрокинулась гора воды, отбросила профессора от перил и ударила о какой-то твердый выступ.

Большой желтый прямоугольник ползет вверх, скользит вниз. Ах, да, это вход в каюты, освещенный электричеством! Нет никакой возможности стать на ноги, на ступеньку. Профессор сползает на спине по ступеням вниз, ползком пробирается к двери своей каюты, с трудом забравшись в нее, лезет в висячую койку. Теперь легче.

А что если?.. Профессор порывисто садится и ударяется головой о потолок. Черт возьми, он не чувствует боли. Что если?.. Ведь это не входило в его расчеты. Он вычислил все: плотность и упругость газа, сопротивляемость и толщину пластинок, температуру локковской жидкости и теплоемкость ткани. Но он не включил в свои формулы стихию. Да, стихию!

Если пароход пойдет ко дну... Какой-то глупый шторм сильнее всех выкладок профессора и опрокидывает все его расчеты. Гробницы потонут, и никакого грядущего мира не будет для Евгении и Викентьева, доверившихся профессору Морану. Итак, имел ли право профессор Моран подвергать риску чужую жизнь?



Господин капитан — огромная пыхтящая гора, увенчанная морской фуражкой, смотрит сверху вниз на маленького профессора Морана. Впрочем, он, кажется, даже не видит профессора, как не видит великан муравья. Пол под их ногами принимает рискованное, наклонное положение, и в то время, как профессор нежно обнимает обеими руками спинку стула в капитанской каюте и болтает в воздухе ногами, капитан прочно стоит на своем месте и с презрением щурит вспухшие веки.

Что такое «Атлант» и эта пустячная зыбь? Господин путешествовал, должно быть, по океану лет десять тому назад, или совсем не путешествовал. Совсем нет? Это видно.

Господин капитан внушительно помахивает огромным пальцем пред красным холмиком, изображающим его нос.

Господин должен иметь в виду, что пароходство «Овертон и Сын» — это не кот наплакал. Что? Да, это так говорится: «не кот наплакал». Или, если угодно, «не баран начхал». Полмиллиарда долларов основного капитала! Пятнадцать пассажирских пароходов! Тоннаж! Быстроходность! Полнейшая гарантия! Господин может спокойно спать.

Что? Что? Сирена? Она ревет потому, что туман. Шторм — детская забава. Но туман! Это вам не кот наплакал, или, если угодно, не баран начхал! Впрочем, пароход «Атлант» застрахован на солидную сумму. О, эта фирма «Овертон и Сын!» Капитан желает господину спокойной ночи.

Профессор уходит. Нет, не уходит, а уползает из каюты капитана. Он подавлен величием капитана, величием фирмы «Овертон и Сын», величием «Атланта». О, это вам не кот... не баран... Кто из них начхал или наплакал?

В своей койке профессор вспоминает совет капитана о спокойном сне и закрывает глаза. В дремоте он чувствует под судном океан. Но ведь кот или баран, или оба вместе начхали или наплакали, и, сверх того, пароход «Атлант» застрахован...

Тр-р-рах! Дз-зень! Точно выстрелили из орудия. Профессор летит с койки на пол, если можно назвать полом поверхность, наклоненную под углом в 60 градусов. С этой поверхности, условно называемой полом, он скользит куда-

то вниз... Но низ через секунду превращается в верх, профессор едет в обратном направлении, головой вперед, и, ударившись о двери, выезжает на своем собственном животе в коридор.

Грохот ног. Хлопают десятки дверей. Внизу что-то с громом перекачивается. Звенит стекло. По воздуху хлещет яркий женский вскрик.

Пароход напряженно дышит, фыркает винтами и дрожит. Густо и без перерыва ревет сирена.

Вода? Бобрик на полу пропитывается водой! Она поднимается снизу. Но ведь там, внизу, тоже каюты. Там люди! Там женщины. Дети... А еще ниже трюм, и в трюме... Не может быть!

Господин капитан прыгает через три ступеньки из своей каюты. Мимо профессора проносится гора тела; белый, очень белый овал, на нем огромные глаза, страшные глаза.

— Черт возьми! — грохочет капитан. — Откуда здесь ледяная гора?

Волосы обладают способностью шевелиться от ужаса. Стержни волос напрягаются и выпрямляются, колко упираясь в кожу черепа. Профессор чувствует это шевеление волос на своей голове и озноб, пробегающий по спине.

Вода! Вода! В трюме гробницы! Правда, они герметически запаяны, но... На дне океана не будет пробуждения ни через двести лет, ни раньше, ни позже.

Черный прямоугольник дверей, ведущих на палубу, взметнулся вверх. В черном прямоугольнике, как в раме, белый, слишком белый кружок лица. Он что-то кричит, этот матрос:

— На палубу! Все на палубу!

Он прыгает вниз, через три ступени, как капитан, стучит кулаками в тонкие филенки дверей и зовет:

— На палубу! На палубу!

Кроме профессора Морана, никого здесь нет: все, кто мог выбраться наверх, уже на палубе, а в нижние каюты хлынул океан и закупорил все двери.

На палубе к бортам мчится белый ревущий поток. Пассажиры, в одном белье, выскочили из кают. Поток несет профессора к борту, где матросы спускают лодки.

Гора? Где ледяная гора? Палец прожектора проткнул тьму и, саженьях в десяти, уперся в сверкающую стену, которая медленно уходит в темно-желтый туман.

...Маленький телеграфист в аппаратной радио — по пояс в воде. У маленького телеграфиста рассечена щека. На аппарат падают красные звезды крови. Маленький телеграфист работает. Радио разносит вопли по всему свету:

— «Атлант»... авария...

— ...Ледяная гора... градусов... широты...

— ...Авария... широты... долготы...

— ...2 часа 35 минут...

— ...Трюм... каюты... над водой...

— ...Крен... Спасайте...

— Спасайте! Спасайте!

Ноги маленького телеграфиста свело судорогой. Звездочки крови пятнят аппарат. Телеграфист работает.

Длинный американец вцепился одной рукой в лодку, а другой тычет в лица, отрывающих его от шлюпки, матросов. Американец учился боксу. Матрос с разбитой челюстью падает на спину.

— Сто тысяч долларов! Миллион долларов! — ревет американец. — Я — Вилльям Кэстль — плачу миллион долларов за шлюпку.

Все хотят жить. Мужчины, женщины, дети хотят жить. Миллиардер Вилльям Кэстль хочет жить. Половину состояния за шлюпку для миллиардера Вилльяма Кэстля! Кто еще может заплатить так дорого за свою жизнь?

Маленький телеграфист тоже хочет жить. Ему нечем платить за свою жизнь. Вода уже дошла до плеч. Голова маленького телеграфиста над водой, из этой головы глядят глаза, которые хотят жить, а руки под водой работают.

И матросы хотят жить.

— Джентльмены! — кричат матросы. — Джентльмены! Раньше всех дети и женщины.

Дети и женщины? Миллиард, два миллиарда долларов за шлюпку для Вильяма Кэстля!

Рябой немец платит меньше, но он платит. Все свое состояние. Он влез на шлюпку, еще висящую на тросах, размахивает револьвером и хрипит:

— Револьвер заряжен. Спускайте шлюпку. Все до последней марки. Не трогайте меня.

Профессор Моран не учился боксу. Но эта свинья, которая влезли в шлюпку... И другая свинья, Вильям Кэстль... Опять напрягаются стержни волос... Профессор взмахивает своим маленьким кулачком и втыкает его в мягкое, как тесто, лицо немца, а другой рукой вырывает у него револьвер.

...Одни глаза маленького телеграфиста над водой. Они живые, эти глаза.

Бах! Бах! Профессор Моран стреляет в воздух и визжит в истерике:

— Всякого, кто подойдет, убью! Женщины с детьми — сюда. Жирная свинья, вылезай из шлюпки!

Шлюпки спускаются в черный провал. Ужасны эти крики, идущие снизу. Стоны, ругательства, плач, треск дерева и злое, остервенелое рычание океана.

...В каюте маленького телеграфиста... Ее нет — этой каюты...

И гробниц нет, и там, где была палуба, океан ткет серебристую парчу из пены. Профессор Моран занял маленький-маленький кусочек места над водой, на капитанском мостике.

Черные агатовые глаза профессора хотят жить. Океан лижет его колени, потом грудь. Простая задача, гробницы погибли, шансов — никаких; в руке револьвер, и если нажать вот эту штучку...

Профессор сжимает зубами дуло. Ну! Ну! Черный агат в глазах пылает: жить, жить! На уровне лица профессора вспухает грудь океана, и волна лижет его своим соленым языком... Ну? В чем же дело?

Неожиданным рывком указательный палец дергает собачку... На профессора обрушивается водяная гора...

Последняя игра.

Сухое личико в сетке синих жилок — отполировано. Тыквообразная лысина цвета старой слоновой кости — в круглой рамке серебряного пуха Крошечные ручки. Голубоватые ноготки. Джон Хайг. Металлический трест. Две трети мировой металлической промышленности. Факт!

Семенит проворными шагами по красному коврику красного кабинета и морщит переносицу. Когда Джон Хайг морщит переносицу — будут события.

Что такое война? Уйма металла! Сотни тысяч тони чугуна, меди, стали, железа! Дивиденд! Дивиденд!

Япония вооружена, Англия вооружена, Россия... О, эта Россия! При воспоминании о России у Джона Хайга шевелются волоски на краях его лысины.

Кто мог думать? Эти большевики не имели ни хлеба, ни денег, ни войска. Они грабили Хайга: четыре завода и рудники на Урале. Большевиков, казалось, можно было взять голыми руками. Но они щелкнули американцев, щелкнули англичан, расщелкали всех и — живут. У Джона Хайга печень не в порядке и, когда он думает о России, то... лучше не думать о России!

Итак, весь мир вооружен и больше некого вооружать. Лозунг для войны сам лезет в руки. Война против милитаризма. Вы хотите, чтобы ваших детей не калечили на войне? Воюйте. Хе-хе-хе, воюйте! Тонны железа, стали, чугуна! Монбланы металла! Акции летят в гору! Золото хлещет рекой! Золото! Золото!

Для тех, у кого нет акций, кто не получает прибылей, нужны красивые слова. Выдумайте хорошую декларацию — и они, как бараны, пойдут на бойню. Хе-хе! А Джону Хайгу нужны не слова, а дивиденды.

Кто против войны? Эдвард Хорн. Он в Вашингтоне, он в Чикаго, он в Филадельфии — везде Эдвард Хорн. Высидел четыре года каторжной тюрьмы и опять гремит. Тут, там, здесь — слушают его миллионы. Миллио-ны!

Эдвард Хорн не желает войны. Конечно, всякий свободный гражданин С.-А. Ш. имеет право... Но Эдвард Хорн не хочет и мира. Он зажигает миллионы голов. Вчера, сегодня в Нью-Йорке, в Филадельфии, в Чикаго метались по улицам кровавые вспышки знамен...

Прежде, чем бросить лозунг войны, надо посадить Эдварда Хорна и сотни три красных головорезов на электрический стул. Что? Законные основания? Позвольте спросить, что такое законные основания? Хе-хе!

Теле-мегафон — последний крик техники. Джон Хайг нажимает никелированную кнопку. Поворот рычажка. Стрелка скользит по доске с нумерацией. Труба мегафона гремит:

— Слушаю!

— Алло, мистер Прайс.

Над аппаратом вспыхивает экран. На экране — щекастое лицо с тремя подбородками — настоящий бульдог. Это Виллям Прайс. Каменноугольные копи и газовые заводы.

— Оль-райт! Начнем!

— Начнем! Сейчас я вызову Мариам Дэвис и братьев.

Опять поворот рычажка. На экране — Мариам Дэвис с братьями. Нефтяные источники.

У Мариам Дэвис белое, мертвое совсем фарфоровое лицо. Тушь восстановила ее вылезшие брови. Под бровями безразличные, как у куклы, глаза без мысли и огня. Не глаза, а голубоватые стеклышки.

Братья:

Спортсмен Леон. Он тонок и длинен, как вязальная спица. Челюсть быка, лоб узенький, зарос рыжими волосами.

Бабник и обжора Тодди. Каждое утро ему подают меню всех первоклассных ресторанов Нью-Йорка. Своему любимому повару он обещал оставить, после своей смерти, полмиллиона долларов. У Тодди все лицо ушло в огромный нос, нижняя губа презрительно выпячена, фигура — наверху острая, внизу расширяется, живот — в два обхвата.

Мариам Дэвис и братья кивают головами на экране. Джон Хайг кланяется экрану и бросает в приемник сухие обрубки фраз:

— Начнем совещание. В узком кругу. Остальных оповестим о результатах. Итак: во-первых, печать. Как обстоит дело с печатью, мистер Прайс?

Вильям Прайс скалит свои золотые зубы на экране. Мегафон грохочет.

— Хо-хо-хо! Куплена! Два миллиона долларов. Кроме того, «Нью-Йоркский Вестник» объявляет завтра лотерею для розничных читателей в сто тысяч долларов.

— Это для чего? — удивляется Джон Хайг.

Вильям Прайс прищуривает левый глаз.

— Это ловкая идея! Моя идея! На одном из экземпляров газеты будет выигрышный номер. Газету будут рвать из рук газетчиков.

— Ага!

— Ага! Ага! — произносят в мегафоне джентльмены и леди.

Тодди Дэвис расслабленно стонет:

— О-о, у меня опять почки!.. Вчера я устроил банкет для... черт подери мои почки!.. журналистов и депутатов. Они положительно не умеют есть, как порядочные лю... Ой-ой!.. Были речи...

Мистер Хайг нетерпеливо морщит переносицу:

— К делу! Что мы сделаем с Хорном?

Нарисованные брови Мариам Дэвис дрожат:

— Этот ужасный человек... Почему он не в тюрьме?

Вильям Прайс делает вид, будто считает монеты:

— А это средство?

— Это средство не годится, — возражает Джон Хайг. — Хорна нельзя купить.

Брови Вильяма Прайса убегают в лоб:

— Что значит нельзя купить? Все покупается. Вопрос сводится к тому — за сколько.

— Хорна невозможно купить — повторяет Джон Хайг. — И в конце концов, дело не в нем. Что значит Эдуард Хорн без масс?

Спортсмен Леон, рассматривавший до сих пор свои ноги, роняет в мегафон свою первую и единственную фразу:

— Все можно купить. Массы тоже можно купить.

И снова принимается за свои ногти.

Джон Хайг согласен с Леоном Дэвисом. Именно это он и имеет предложить!.. Джентльмены понимают сами, что, если перед носом лошади повесить клок сена? Словом, лошадь побежит за сеном, а не за Хорном.

Дивиденд против Хорна и его идей. Выпуск акций в мелких купюрах. Рабочие трех самых мощных трестов делают акционерами. Конечно, это — горе-акционеры, но... Рабочий, получающий дивиденд, негодный материал для идей Хорна. Хорн может сколько угодно долбить о коммунизме, у рабочего в мозгу будет звенеть одно: «дивиденд». При этом: самая широкая рассрочка! Самые льготные условия!

Какой-то король сказал что-то про курицу в супе каждого фермера. Ах, да! Король сказал, что он желал бы, чтобы в супе каждого фермера была курица. И если бы фермеры ежедневно ели курятину, у короля была бы голова на плечах, а не на эшафоте.

Итак, джентльмены дадут каждому рабочему по курице. По курице, несущей дивиденд. Джентльменам это не будет стоить ни одного цента. Но зато Хорну это будет стоить нескольких сот тысяч рабочих. Факт!

В мегафоне трещат хлопки. Джентльмены желают носить свои головы на плечах.

Рабочие льются потоками по асфальту тротуаров. В свете дуговых фонарей и витрин снежинки кружатся, как белые мотыльки, и белят головы, плечи, верхи пролетов, крыши omnibusов и трамваев. Рыжий туман. Тусклые пятна огней.

Рабочие вливаются в зал. Сзади напирают кепи, котелки, шляпы. Спереди — плотина кепи, котелков, шляп.

Стоп! На страже порядка круглый полисмен. Сначала он поднимает свой нос — картофелину, потом — палочку. Стоп!

Что значит стоп? Нет места? Великолепно! Для токаря Пиртона не найдется места? А известно ли бобби, что сегодня говорит Хорн? Хорн будет говорить о безработице. Токарь Пиртон сидит без работы. Токарь Пиртон имеет право послушать речь Хорна о безработице.

Что? Свисток? Ну, право, ссора с полицейским сейчас не входит в расчеты Пиртона. Пиртон ныряет в толпу и, припадая на свою хромую ногу, уходит подалее от греха.

Огненными аршинными буквами кричат бюллетени на витринах газет. Пиртон вмешивается в толпу, стоящую перед витриной.

— Япония стягивает флот!
— кричит бюллетень.

— Англия вручила ноту правительству С.-А. Ш.!

— Секретное заседание во французской палате!

В потоке шляп, котелков и кепи мелькают белые листы вечерних газет. Их рвут у газетчиков, читают у витрин магазинов еще свежие, маркие от типографской краски, столбцы.

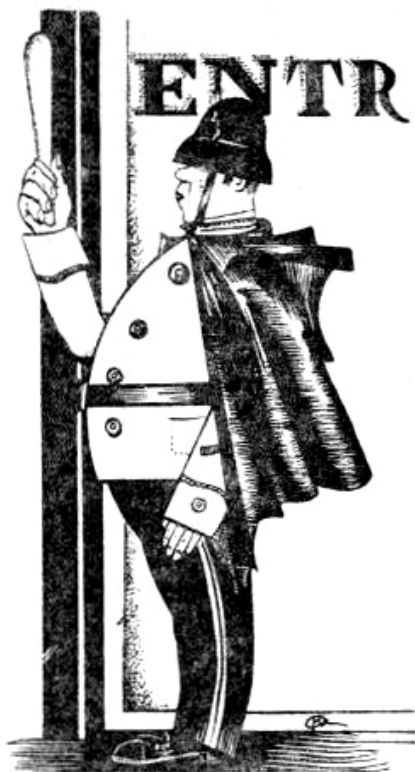
— С.-А. Ш. не желают войны. Но С.-А. Ш. предупреждают, что...

— Прием послов Англии, Японии и Франции в Белом Доме... Американский народ не допустит...

— Нам нужна почва в Китае. Япония интригует.

Что? Опять втирают очки! Точь-в-точь, как перед прошлой войной. Хромой Пиртон потерял ногу на той войне, потерял работу после войны, потерял жену от безработицы. То есть, умерла от чахотки, а чахотка началась от безработицы... Нет, Пиртона больше не поймают на эту удочку!

Котелки и кепи шумят у витрины «Нью-Йоркского Вестника». Опять война, опять? Пусть воюют те, кому она нужна.



В дверях редакции господин в цилиндре. Он снимает цилиндр и машет им.

Тише! Тише! Мистер Реджинальд Гордон, директор «Вестника» желает говорить... Тише!

Весь мир, кроме миролюбивой Америки, вооружен до макушки. Мистер Реджинальд Гордон уверен в том, что американский народ этого не потерпит. Во имя человечности и цивилизации. Америка не желает войны. Но война за разоружение — это другое дело.

Одна кепка, всунув два пальца и рот, пронзительно свистит. Пиртон нагибается за чем-то. Но на нью-йоркских тротуарах трудно найти камень, и Пиртон швыряет свой костыль в Реджинальда Гордона, директора «Вестника».

— Мошенник! Кто тебя купил? — кричит хромой Пиртон. — Теперь-то вы уже не заговорите нам зубов!

— Вы уже не заговорите нам зубов! — кричат кепи и котелки.

Реджинальд Гордон скрывается в дверях редакции. Звенит стекло. Блестящие осколки дождем брызжут на тротуар. Бюллетень в витрине гаснет. Свист, грохот, звон. Над кепи и котелками работают белые дубинки полицейских...

И опять несет толпа хромого Пиртона, потерявшего ногу, потерявшего жену, потерявшего костыль. Что у него осталось? Руки? Их не покупают. Никто и нигде! Ни в Америке, ни в Европе. Везде кризис, кризис.

Толпа несет Пиртона дальше и дальше, куда-то в желтый туман. Как сверчки верещат со всех сторон свистки полицейских.

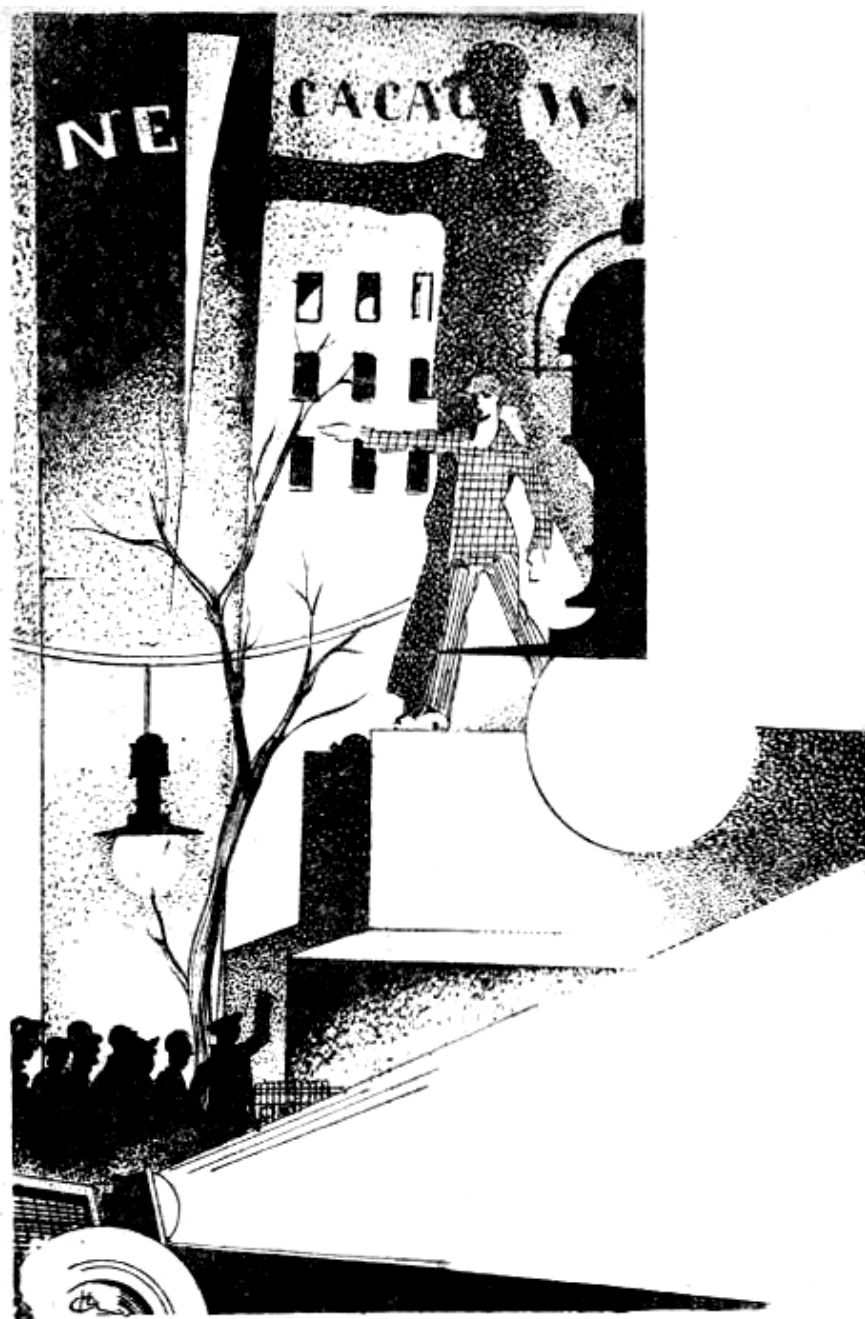
Вдруг наверху, над головами, вырастает человеческая тень. Она огромна, и кажется, будто своей головою она касается крыши небоскребов. Она грохочет, как гром:

— Товарищи!

— Кто это? Эдвард Хорн! Он взобрался на памятник. Туман увеличил, растянул тень от его фигуры. Толпа смыкается вокруг памятника.

— Товарищи! — гремит он.

Он берет мысли Пиртона, спускает их, зажигает их огнем и бросает их в толпу, в Пиртона. Да, да и Пиртон думал то



же самое, и все думали то же самое, что говорит Хорн. Но они не знали своих мыслей, они только чувствовали их, а Хорн их выражает горячими словами. И все подхватывают мысль, которая давно бродила в их головах:

— Великая забастовка.

Тысячи Пиртонов бросают вверх свои кепи, котелки и шляпы. Рыжий туман наполнен громкими криками.

Тень на памятнике тает. Хори спешит в другой конец города. Из тумана надвигаются новые лавины народа. Улицы, площади, скверы гремят. Унизаны людьми деревья, решетки, подножия памятников. Люди поднимаются из туннелей метрополитена. Люди спускаются с платформы висячей железной дороги. Люди идут по панелям, по мостовым, по мостам. Идут! Идут! Идут!

Джон Хайг просыпается в своей спальне и протягивает руку к звонку. Он долго звонит, пока, наконец, приходит слуга. У Джона Хайга злобная морщинка на переносице. Но старый лакей бледен, руки у него трясутся и Хайг в тревоге привстает на кровати.

— Где газеты, Дик?

— Газет нет, — угрюмо отвечает слуга.

— Газет нет? Как нет? Отчего?

— Они не вышли. Забастовка.

— Забастовка? — переспрашивает Джон Хайг. — Гм, забастовка!.. Отчего так долго никто не отзывался на звонок?

— В доме никого нет, кроме меня. Все разбежались. Вчера ночью, сэр... Пришли из Профессионального союза домашней прислуги... Великая забастовка. Она меня не касается, сэр! Честное слово!

Джон Хайг торопится и не попадает в рукава халата. Он идет к умывальнику. Из крана вырывается свист. Воды нет.

— Почему нет воды?

— Великая забастовка, — уныло вторит слуга.

Сотни пропеллеров жужжат в темноте над огромным городом. Человек, затянутый в кожу, со стеклами на глазах, перегнулся через борт головного аэроплана. Париж там, внизу, в глубине восьмисот метров, погасил электричество и грозно ревет пушками, строчит пулеметами, щелкает винтовками в липкой черноте туманной ночи. Ничего не видно. Только над центром рубинится огромное зарево пожара. По темным каналам улиц ползут огненные червячки. Это передвигаются отряды, освещающие себе дорогу факелами.

Головной аэроплан сигнализирует светом. Воздушная эскадра жужжит гуще и спускается. Аэропланы реют над самым городом. Дирижабль в центре эскадры зажигает прожектор. Белый луч втыкается в пропасть над воздушной эскадрой, прокалывает темноту и вырывает из мрака куски улиц, площадей, шпили соборов и дворцов, мосты.

Командующий воздушной эскадрой Николай Баскаков следит из своей кабинки в головном аэроплане за движением луча. Его штаб из четырех человек сидит за картой Парижа, разогнанной на столе посреди кабины, и втыкает то тут, то там, красные и белые флажки.

Баскаков, не отрываясь от бинокля, диктует:

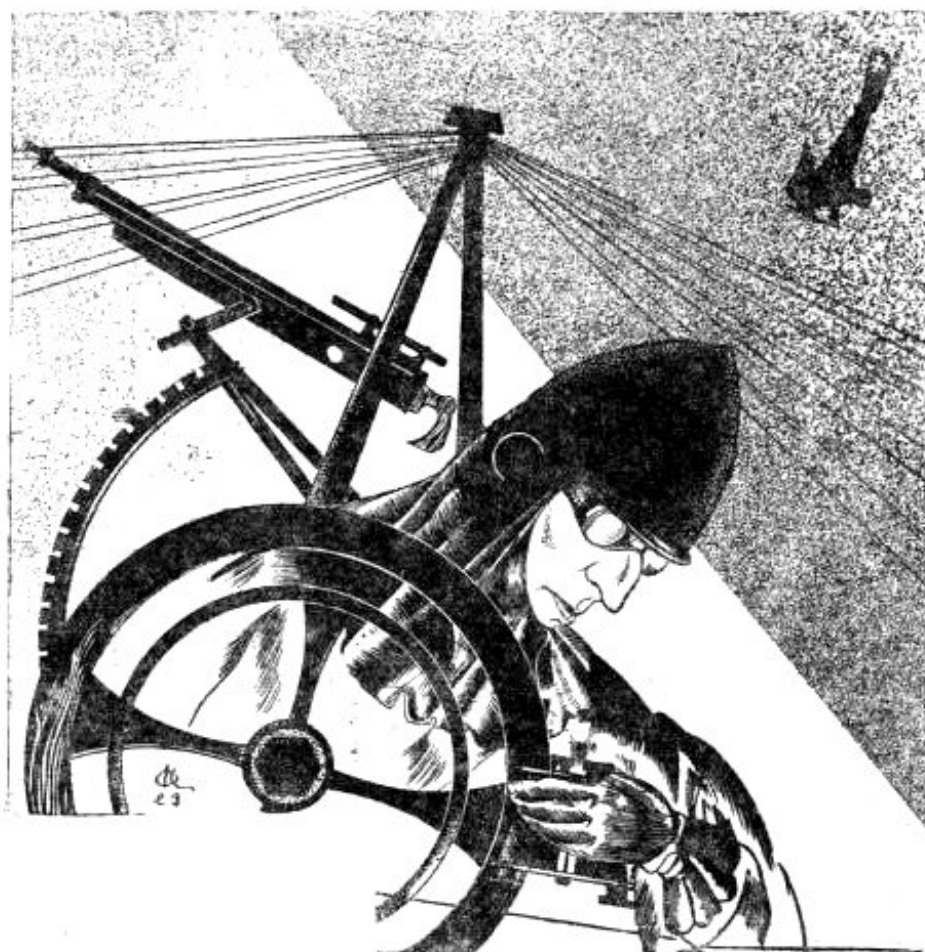
— Предместья — красные. Елисейские поля — белые. Вендомская площадь — белые. Площадь Пирамид — красные.

Подле аэроплана рвется шрапнель. Внизу установили зенитные орудия и бьют по воздушной эскадре. Но она уже нащупала расположение борющихся сторон. Центр окружен красными. Белые укрепились в центральных кварталах.

Опять сигнализирует головной аэроплан. Эскадра перестраивается среди вспышек рвущейся шрапнели и спускается еще ниже. Слышнее, ярче рев орудий. Каналы улиц приближаются. Они пересечены путаницей проволочных заграждений, взрыты, загромождены. Желтое облако ползет к рабочему предместью Сент-Антуан.

Баскаков отрывается от бинокля. Его лицо искривлено и бело.

— Мерзавцы! — воскликнул он. — Они действуют ядовитыми газами.



И приказывает дать сигнал о начале боя. Красная ракета рассыпается мелкими алыми звездочками. Это сигнал. С бортов аэропланов летят вниз бомбы. Грохот. Сотрясение воздуха. Огненные веера взмываются ввысь.

Две сотни аэропланов — точно одна гигантская птица. Сигнал. Все разом скользит вниз, как по воздушным ступеням. Остановив моторы, падают, чуть не задевая крыльями о шпили соборов и дворцов. Бросают дождь бомб. И опять взмет ввысь.

Двадцать пять аэропланов, обшитых броней, гибко изворачиваясь среди взрывов и воздушных воронок, строчат пулеметами из бронированных, куполообразных кабинок. Под одним воздушным броневином — облачко белого дыма. Брызнули искры. Взрыв. Огромным огненным комом низвергается аэро-броневик в пропасть. Отделившись от него, падает маленькая темная фигура летчика.

Белый палец прожектора опять выхватывает из темноты куски Парижа: сверкает извив Сены, убегает назад в чугунное кружево мостов, зажигаются золотыми иглами шпили, пробегают площади, бульвары. Все в дыму, в вспышках огня, в движении масс, в нагромождении...

Баскаков весело и бодро распоряжается:

— Превосходно! Переставьте флажки! Красные прорвались в центр!

Сигнальный взмет ракеты. Эскадра поднимается, перестраивается и, снизившись, опять начинается бой.

Каждые полчаса его высочество насыпает на ноздь горку желтоватого порошка и втягивает его в свой августейший нос. Его высочество нюхает кокаин.

Но кокаин весь вышел, и его высочество впадает в бешенство. Его глаза — точно две никелевые монеты. Он ничего не понимает. Он кричит, брызгая слюной:

— Мерзавцы! Дайте мне кокаин! Я не могу жить без кокаина!

Потом он тупеет. Его бритое длинное лицо деревенеет. Впалый лоб покрывается потом. Его высочество вторит:

— Меня расстреляют. Увезите меня подальше. Я боюсь, боюсь!

Утром невдалеке от яхты пробегают два миноносца под красными вымпелами. У Джона Хайга, не отрывающегося от подзорной трубы, пробегают колкие жгучие иголки по спине: на плакате на носу переднего миноносца написано:

**«СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИАТЛАНТИЧЕСКИХ
СТРАН».**

Мистер Хайг молча смотрит на адъютанта его высочества, лорда Роберта Рой. Лошадиное лицо лорда Рой, как бумага. С трудом выдавливает из себя слова.

— Судна португальские. Значит, там тоже...

И вдруг начинает кричать:

— Сорвите флаг! Американский флаг! Выкиньте красный флаг!

— Лучше никакого, — приказывает Джон Хайг.

Флаг сорван. Яхта идет без флага. Через часа два яхта останавливает парусную рыбацью шхуну. Седой рыбак. Лицо обожжено солнцем. Ярко блестят белые зубы и белки глаз. Он стоит на палубе яхты, расставив широко ноги, и выбрасывает гортанные непонятные комки звуков.

— Что? Что он говорит? — жадно спрашивает Джон Хайг.

Офицер переводит, кривя рот в большую гримасу.

— В Португалии рабочее правительство, — вот что он говорит... В Испании тоже... Король в тюрьме... Собственность конфискована. Хорошие дела, нечего сказать!

Рыбак радостно осклабляется и быстро выбрасывает еще несколько гортанных звуков.

— Что он говорит? — опять спрашивает Джон Хайг, чувствуя, что у него сводит челюсть.

— Газета. У его сына на шхуне есть газета.

Джон Хайг втискивает в черную твердую ладонь рыбака бумажку в десять долларов.

— Газету! Живее!

Маленький серый листок рассказывает страшные вещи: Пожар. Всесветный пожар! Советы в Лондоне, Париже, Берлине, Вене, Риме... Вся Европа советизирована. Под заголовком газеты аншлаг:

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЫ».

— Нет, нет, через Гибралтар не проскочить! — хрипло вскрикивает Джон Хайг и дергает седые клочья волос на своих висках.

Его высочество вышел из каюты на палубу.

— Скоты! Достаньте кокаин! Я умру без кокаина! — дико ревет он. — Одну понюшку! Только одну!

У Джона Хайга улетучилось все почтение к его высочеству.

— Уберите отсюда эту свол... Уберите его! — кричит он.

Нигде в Европе нет места Джону Хайгу. Или Джон Хайг должен подчиниться? Нет! Нет! На восток!

— Нам не хватит угля, — возражает Томсон.

— Мы нагрузим уголь в каком-нибудь африканском порту.

— Радио-телеграф быстрее нашей яхты, — упорно возражает Томсон. — Радио в руках красных. Значит...

— Значит, значит... Да, да, он прав, эта рыжая скотина! Радио разносит яд революции по всему миру.

Лорд Рой дрожащими руками протягивает Джону Хайгу газету.

— Читайте.

— Но я ничего не понимаю на этом собачьем языке.

Лорд Рой переводит.

— Июкогама осаждена японскими революционными партизанами. Русская красная армия высадила десант...

— Не надо больше, не надо, — зажимает уши Джон Хайг.

Лорд Рой упрямо переводит:

— Английская революционная эскадра направляется в Египет и Индию. В Австралии вспыхнула...

Джон Хайг вырывает газету из рук лорда Рой и в бешенстве топчет ее:

— К черту! К черту!

Пена желтоватой цепочкой сбегает с уголков его губ.

— К черту! — кричит он срывающимся голосом.

И вдруг поднимает газету, разглаживает ее, протягивает ее лорду Рой.

— Канада. Про Канаду тут ничего нет?

— О Канаде нет ничего, — отвечает лорд Рой.

— В Канаду, слышите, Томсон! И прикажите поднять красный флаг.

Томсон хмуро ворчит. В конце концов, чего ради он ввязался в эту историю? Ведь он не миллиардер и не принц... Ну, последний рейс, так и быть!

Из каюты его высочества доносится рев:

— Маленькую понюшку! Крошку кокаину, скоты!

Угля больше нет. Машина на яхте молчит. Винты замерли. Яхту медленно несет морское течение. Куда?

Яхту несет на север. Может быть ее вынесет за полярный круг? Может быть, к Гренландии несет океан яхту? Может быть...

Его высочество впал в идиотизм. Он, молча, лежит в каюте и неподвижно смотрит своими никелевыми зрачками в потолок. Он больше не просит кокаина. Он не просит ничего.

Миллиардер Джон Хайг, король стали, плачет. Нет, не плачет. Синие губы растянуты месяцем. Улыбаются. А из глаз падают мелкие бисерные слезинки. Падают на лацкан сюртука.

Миллиардер Джон Хайг беднее последнего нищего. Даже своей жизнью он не распоряжается. Эдвард Хорн победил Джона Хайга. Миллионы Хорнов взяли верх во всем мире. В мире Хорнов миллиардеру Джону Хайгу нет места...

Яхту несет. Молчат машины, умолкли винты. Красный флаг мертво повис на флагштоке.

...Точно гигантские руки рванули в обе стороны обшивку яхты и разорвали ее. Серо-желтое клубистое облако. Брызжут вверх обломки.

Вчера ночью революционная минная флотилия расставила минные заграждения у берегов Америки. Яхта наскочила на плавающую мину.

Мистер Хайг несколько раз ударяет руками по воде. Что-то тянет его вниз. Тело мистера Хайга тяжелеет и опускается глубже, глубже. Вода со звоном смыкается над его головой. Вода шумит в его ушах. Вода врывается в рот, в нос.

Мистер Хайг задыхается. В последнюю минуту он раскрывает глаза. В зеленой мути он видит перед собою огромную гробницу... Мистер Хайг теряет сознание.

Вышки радио-телеграфных станций ловят дрожание эфира.

...Верховный Революционный Совет...

...Совет Европейской Федерации...

...Верховный... Совет... предлагает...

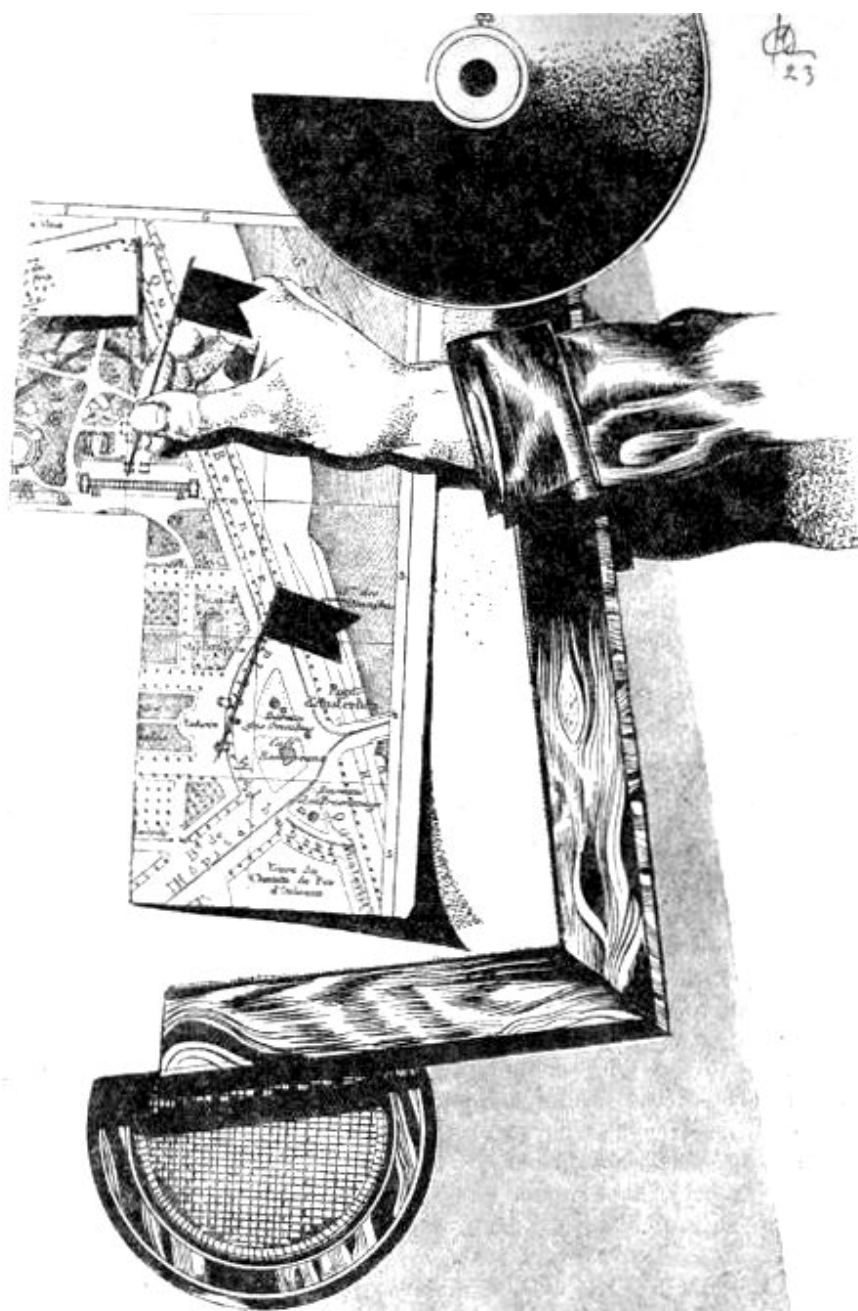
...Всемирный Конгресс Советов...

...Верховный Совет... Совет... Совет...

...предлагает... образовать... Всемирные Соединенные Штаты Советских Республик...

...Конгресс Советов... Европы... Америки... Азии...

23



Часть вторая.

Пробуждение.

В первой четверти двадцать второго столетия солнце так же горячо, как двести лет тому назад. Солнце так же скользит огненный шаром по опрокинутой голубой чаше неба и так же золотит землю... Землю? Земли, голой земли, так мало, ее почти нет нигде на земном шаре. Улицы, скверы, площади, опять улицы — бесконечный, бескрайний всемирный город.. К первой четверти 22-го столетия все города мира слились и один город. Через океаны, по насыпанным искусственным островам, протянули материки друг другу навстречу свои улицы: Америка — Европе и Азии, Азия — Австралии, Австралия — Африке. В гигантских кессонах, опущенных в океаны, работали полтора столетия, насыпали цепи островов, охвативших поясами земной шар, выстроили ряды улиц от края до края океана и связали отрогками городов материк с материком.

Изящные домики-усады в 2-3 этажа, утонувшие в цветах и зелени, домики из папье-маше, уплотненного до твердости железа, обшитые алюминием. Дома слили свои плоские крыши, перекинутыми воздушными кружевными мостами в гигантскую, бесконечную террасу, обсаженную ровными рядами деревьев, с зелеными лужайками, с фонтанами, с павильонами. Кой-где высятся громады университетов и общественных зданий, сверкающие золотом и лазурью своих куполов и шпилей.

А внизу — тротуары и мостовые из папье-маше — вся земля зашита в плотную непроницаемую броню.

Но во всемирном городе, в бронированных улицах, так же легко дышат, как когда-то в лесах. В бесчисленных химических заводах вырабатывается озон. Он струится по сети труб на улицах и насыщает воздух.

На широкой площади — огромное круглое здание с голубым прозрачным куполом. Университет. По ступеням в широко распахнутые двери льется народ. В легких одеждах

из светлой ткани. Мужчины и женщины одеты одинаково. Головы без волос, лица — бриты: сильно развитой череп, ярко выразительные лица; подвижные, бойкие глаза радостны и налиты энергией. У женщин лица тоньше, формы тела округлее, стройнее, мягче.

К куполу причаливают воздушные машины. Они бесшумны. Ни моторов, ни крыльев. Это воздушные корабли с поршнями. Особые аппараты поглощают шум поршней. Ступенчатая внутри-атомная энергия приводит в движение небольшой двигатель. Корабль юрко-проворно и быстро скользит по воздуху. Прилетевшие на кораблях спускаются в зал на лифтах.

Огромный круглый зал охвачен подковами скамей и пюпитров. В центре возвышение, и на нем, на помостах, стоят две огромные гробницы. У длинного стола, перед гробницами, сидят несколько пожилых человек. В зале совершенно тихо. Около десяти тысяч человек в зале — и ни звука.

Звонкий удар колокола. Шелест движения десяти тысяч человек. Все прикладывают к вискам две крошечные чашечки, которые присасываются к коже. Присоединяют провода, идущие от чашечек к штепселям, укрепленным в пюпитрах. От штепселей провода убегают вверх, к куполу, к системе цилиндров. Этот прибор — чашечки, провода, цилиндры — представляет собой идеограф, передающий человеческую мысль, идеи, душевные переживания. Идеально чувствительная пластинка в чашечке идеографа отражает малейшее колебание нервного вещества в мозгу и переносит эти колебания толчками к слушателю, вызывая у него те же идеи, мысли и представления.

Встает старик Стерн. Он мысленно произносит:

— Друзья! Я начинаю свою лекцию.

Идеограф переносит его мысль в сознание десяти тысяч слушателей. Больше того: от купола университета бежит вниз и дальше по подземной трубе кабель. В каждом доме всемирного города находится аппарат идеографа. Десятки тысяч людей в разных концах мира присоединяют к кабелю идеограф и слушают лекцию Стерна.

И в тысячах тысяч голов одновременно вспыхивает идея:

— Он начинает лекцию.

Стерн мысленно возвращается на полстолетия назад.

И в сознании тысяч и тысяч людей возникает мысль:

— Пятьдесят лет тому назад...

— Пятьдесят лет тому назад, — чеканит мысль Стерн, — при установке кессона, у северо-восточных берегов Америки, были найдены эти две гробницы. Они застряли в подводных камнях, обросли водорослями и морскими слизняками. Гробницы были извлечены из океана.

— Кто не знает истории открытия и извлечения этих знаменитых гробниц! — мысленно прерывают слушатели Стерна.

— Все знают об этих гробницах, — отпечатлевается в уме лектора.

Стерн не останавливается больше на этом, тем более, что времени осталось мало:

— Вам известно, что в гробницах находятся в анабиотическом сне два древних человека — мужчина и женщина. Их сон длился двести лет. Ровно через десять минут вскроются крышки гробниц. Вам известно, что газ замечательного ученого Морана опасен. Наденьте противогазные маски.

Шелест. Все надевают принесенные с собой маски.

Удары колокола отсчитывают минуты:

— Бом! Бом! Бом!

Звонкий треск. Над гробницами взлетает облако пыли. Голубой газ, пронизывающий холодом до костей, наполняет зал. Но зал слишком велик, и мороз мгновенно спадает. Десятки электрических вентиляторов тотчас же выгоняют газ наружу.

— Маски можно снять, — мысленно диктует Стерн. — Слушайте!

Президиум встает с мест. Взбирается по лесенкам внутрь гробниц.

В умах тысяч и тысяч идеограф рисует картину: на дне гробниц две фигуры в красной шелковой ткани. Президиум рвет шелк. Белеется нагое тело. У левого бока, у сердца обоих людей, часовой механизм с лезвием, занесенным над каучуковой трубкой, проникающей в артерию. По труб-

ке из бидона, стоящего в углу гробницы, бежит оживляющая жидкость. Лезвие медленно опускается на каучиковую трубку...

Во все концы мира идеограф несет отражения этой картины и переливает впечатление тех, кто на дне гробниц наблюдает ее, в головы, стиснутые чашечками идеографа.

Стерн прикладывает к сердцу фигур слуховую трубку и диктует:

— Слушайте! Слушайте!

Тысячи тысяч человек ощущают отраженные идеографом слабые, робкие толчки двух пробуждающихся сердец. Тук-тук-тук — стучится воскресающая жизнь. Тук-тук — слышат ее биение в разных концах мира. Шум воздуха, врывающегося в оживающие легкие.

— Слушайте!

Тупой стук. Лезвие обрезало трубки. Рычажок закрыл ранки.

Стерн прикладывает к вискам Викентьева и Моран чашечки идеографа:

— Слушайте! Слушайте!

— Но они мыслят на своем языке. Как же мы поймем? — несетя со всех сторон к Стерну.

Стерн укоризненно качает головой:

— Разве вы забыли все, чему вы учились? Что такое мысль? Это, во-первых, химический процесс — преобразование нервного вещества. Это, во-вторых, физическое явление — перерождение клеточек мозга, колебание молекул, атомов, электронов. Слова — это облачка, надстройка над всеми этими процессами. Значит, идеограф, передающий все эти колебания и изменения и вызывающий соответствующие явления в вашем мозгу, срывает оковы языка с мысли. Идеограф передает мысль на языке движения. Итак...

Стерн обрывает свою маленькую лекцию:

— Слушайте! Слушайте, о чем думают, что чувствуют пробуждающиеся от двухвекового сна!

Викентьева несет куда-то вверх, потом в сторону, качает, зыблет. И вдруг остановилось. Звон в ушах. Голова нализуется звоном. Тело точно не свое, деревянное, омертвев-

шее. Потом теплее, теплее, как будто кто-то тепло дышит на голову, на плечи, на грудь, на живот.

Ах, какая жгучая боль у сердца! Отчего? Да, да! Профессор Моран. Белый операционный стол... Сладко-терпкий запах хлороформа. Не надо! Викентьев хочет жить! Не надо анабиоза!

Светлые пятна плывут в глазах. Что-то горячее вливается в тело, проникает во все его поры...

Дрожание закрытых век Викентьева. Из-под ресниц блесит светлая полоска белков, потом вычерчиваются зрачки, мутные, тусклые, без мысли.

Над Викентьевым наклонились две лысые головы с черными чашечками на висках.

— Как вы себя чувствуете? — мысленно спрашивает Стерн.

— Как они себя чувствуют? — спрашивают по идеографу тысячи и тысячи людей.

И, отраженный идеографом, вопрос возникает одновременно в уме Викентьева и Евгению Моран:

— Как я себя чувствую?

Как они себя чувствуют? Звон в голове не перестает. Слабость. Хочется есть, ужасно хочется есть.

Викентьев подымается на локтях и, напрягая все силы, садится. Стерн и его товарищ поддерживают его. В другой гробнице приподнимают Евгению Моран. На них набрасывают легкотканную одежду.

Ведут по лесенке вниз, на эстраду. Вот они, вот они, люди старины! Волосатые существа с грубыми, топорными линиями лица. Вот они!

Тысячи глаз впились в Викентьева и Евгению Моран. Тысячи голов вспоминают историю этой эпохи.

В то время, когда они жили, гении трудились над изобретением орудий для истребления людей. В их время были отвратительные боины. В их время было рабство. Миллиарды людей не имели права на сытость, на радость, на жизнь. Горсточка людей владела их трудом, их богатствами, их мыслями, их жизнью. Это правда? Вы, очевидцы, современники — расскажите нам.

У Викентьева и Евгении Моран бьются в голове тысячи мыслей... отраженных идеографом:

— ...Волосы... У нас волосы... Мы люди старины...

— ...Люди убивали людей... Бойни... Машины для убийства.... Ужас!

— ...Кучка людей... грабила труд миллиардов других людей... Проституция... голод...

Поток мыслей! Голова болит от мыслей. Зачем этот глубокой зал? Кто эти странные люди с проводами у голов?

И несется со всех сторон по идеографу ответ:

— Мы люди двадцать второго столетия, граждане всемирной коммуны.

Викентьев и Евгения Моран почти теряют сознание от усталости и потрясения. Стерн отнимает чашечки идеографа от их висков. Сразу гаснет в их головах фейерверк мыслей. И только одна радостная мысль бьется в них:

— Мы живы! Живы!

Евгению и Викентьева усаживают в радиомобиль — экстаус, напоминающий автомобиль, но приводимый в движение внутриатомной энергией радия. На радиомобиле нет шофера. Стерн нажимает кнопку на стенке радиомобиля, и машина бесшумно скользит по мостовой.

Ночь. На небе россыпь огней, как двести лет тому назад. Но на улицах ясный день, странный день — серебристо-голубой. Откуда этот свет? Светятся мостовые, тротуары, стены домов. Они покрыты светящимся веществом. Радиомобили несутся по светящейся улице, полной звуков музыки, доносящейся с террас, с крыш домов.

Викентьев поражен. Как эти экипажи сами, без шоферов, лавируют по улицам и в стремительном беге не сталкиваются друг с другом?

— Профессор, — обращается он к Стерну, — как управляются эти машины?

Стерн не понимает его языка. Он надевает на головы Викентьева и Евгении идеографы, и те осознают мысленное обращение к ним Стерна.

— Это прибор для сообщения мыслей. В чем дело?

Викентьев повторяет свой вопрос.

— Прежде всего, у нас нет профессоров, — отвечает Стерн. — Ни профессоров, ни ученых, ни других специальностей. Благодаря системе нашего общества и технике, у нас нет разделения труда.

— Но разве всякий умеет читать лекции? — возражает Евгения.

— Всякий гражданин Мирового Города, достигший зрелости. Сегодня я читал лекцию. Вчера я работал у экскаватора. Завтра я намерен работать на химическом заводе. Мы меняем род деятельности по свободному выбору, по влечению.

Викентьев перебивает Стерна. Его интересует движение радиомобиля.

— Радиомобиль приводится в движение разрядами ради, — объясняет Стерн.

— Но каким образом он регулирует свое движение?

— Вы видите впереди радиомобиля счетную поверхность из выпуклых стекол. Это глаза радиомобиля.

— Глаза? — изумленно восклицает Викентьев и Евгения.

— Да, глаза, — невозмутимо отвечает Стерн. — У радиомобиля двести таких глаз. Каждый глаз отражает встречные предметы. Теперь наблюдайте: навстречу нам мчится радиомобиль.

Стерн открывает крышку радиатора. Вторая крышка — стеклянная. Радиатор внутри разделен на несколько десятков отделений, в которых находится бугристая молочно-желтая масса.

— Это светочувствительная масса, — объясняет Стерн. — Вы видите, в одном из отделений отразился встречный радиомобиль.

— Масса в ящичке вспыхнула, — восклицает Викентьев. — Она выделяет какой-то газ.

— Да, под влиянием света, в массе происходит химическая реакция. Выделяющийся упругий газ большой плотности входит в эту трубочку, в отделения, толкает поршень, который приводит в движение рычаг руля... Но мы приехали.

Стерн нажимает кнопку. Радиомобиль останавливается у подъезда. Широкие ступени ведут в вестибюль, сверкающий золотистым спетом, льющимся со стен и с лепного потолка. Пол устлан коврами. Свет золотит ряды пальм у стен. Далеко где-то сплетаются тихие, тонкие звоны музыки.

— Это ваш дом? — спрашивает Евгения.

— Мой? Зачем? — усмехается Стерн. — У нас нет ничего своего. Это дом Мировой Коммуны. Я здесь живу.

— Какое роскошное здание! — восхищена Евгения.

— У нас все дома такие... Ну, войдите в лифт.

Нажим кнопки. Лифт несется вверх, отзванивая этажи. Площадка третьего этажа.

В комнатах тот же золотой свет, та же далекая, тихая музыка. Яркие пятна картин на стенах. Выпуклости художественной лепки на потолке. Ноги мягко ступают по играющим краскам на пушистых коврах. Переплелись красочные линии по шелку мебели, портьер и гардин. Всюду цветы, цветы. Тонкий запах.

— Эти комнаты предоставляются вам. Эта — вам, а та — вам, — указывает Стерн. — Если вам не нравится это освещение, то...

Он подводит их к небольшому ящику в стене. В ящичке полукруг стеклышек всех оттенков. Стрелка указывает на золотистое стеклышко.

Поворот стрелки. Комнату заливает теплый рубиновый свет. Еще поворот — лиловый, серебристый, фиолетовый... Опять золотой.

— Каждый гражданин может выбирать по своему вкусу мебель, украшения комнат. Надо сообщить только по идеографу в коммунальное бюро своего дома...

— Но это все не дается же даром, — замечает, потрясенный впечатлениями, Викентьев. — Надо же быть чем-нибудь полезным обществу. К чему мы пригодны в этом новом мире?

— Вы можете свободно распоряжаться собою, — отвечает Стерн. — Выбирайте любой род деятельности.

— Но если мы ничего не сумеем делать? — спрашивает Евгения.

— Сумеете.

— А если не захотим?

— Захотите, — загадочно улыбается Стерн. — Никто вас не будет заставлять, но вы захотите сами работать...

Викентьева и Евгению мучают голод и сон.

Стерн кивает головой:

— Да, да, я знаю. Ведь, благодаря идеографу, вы не можете скрыть ничего. У нас нет тайн и нет лжи.

— Да, мы хотим есть и спать.

— Есть и спать! Устарелые понятия. Я не дам вам ни есть, ни спать, но вы будете сыты и бодры.

Он открывает дверь в соседнюю комнату. В ней почти нет мебели. Две ванны, накрытые стеклянными колпаками; никелированные краны; душ, металлические цилиндры.

— Сейчас вы будете сыты и бодры, — повторяет Стерн.

— Разденьтесь и садитесь в эту ванну.

— Как? При вас? При нем? Мне стыдно!

Стерн не понимает, отчего ей стыдно. Разве это дурно — раздеться и сесть в ванну с питательной жидкостью?

— Я женщина. Я не могу при мужчинах.

Почему женщине стыдно? Стерн решительно ничего не понимает. Ведь у нее нет никакой дурной болезни.

Идеограф отчеканивает тайные чувства Евгении. Мало-помалу Стерн начинает понимать. Половой стыд — предрассудок старины...

— Нам неведом этот стыд. У нас нет нечистых мыслей, присущих эпохе насилия, лжи и условностей... Разденьтесь же. Вы сами не сможете устроить это... Я должен вам помочь.

Евгения покоряется, потупив глаза и краснея. Стерн накрывает ванны стеклянными колпаками, открывая краны. Ванны наполняются бесцветной жидкостью с пряным ароматом.

Каждая пора тела жадно всасывает эту пахучую жидкость. Тело становится упругим, мышцы наливаются силою, быстрее бежит кровь по артериям и венам, четко работает ум. Бодрая теплота разливается по всему телу.

Стерн открывает крышки.

— Эта питательная жидкость восстанавливает разрушенную материю, питает клеточки, проникая всасыванием в поверхностные кровеносные сосуды, а оттуда в вены и артерии, — сообщает он. — Желудку нечего делать в наше время... Теперь станьте под душ. Несколько неприятное ощущение — и пройдет сонливость.

Из душа льется ослепительно яркий сноп лучей. По всему телу пробегает жгучее колотье. Легкая судорога передергивает лицо.

— Радиоактивный душ поглощает яды и убивает бактерии, образующиеся в клеточках мозга во время бодрствования и вызывающие сон, — объясняет Стерн.

Неприятное ощущение проходит. Викентьев и Евгения, бодрые, полные энергии, одеваются.

— Неужели в ваше время никогда не спят? — удивляется Викентьев.

— Нет, мы не спим. Спят только мертвые. Мы экономим на сне и живем вдвое больше, — улыбается Стерн. — Ну, теперь я вас оставляю. Когда я вам понадобится, вызывайте меня, где бы вы не были, по идеографу № 0.0073.

Аппарат идеографа на стене дает три коротких звонка и четко произносит:

— Викентьев! Моран!

Они прижимают чашечки идеографа к вискам. Свет в комнате гаснет. Но экране, над идеографом, огромная атлетическая фигура. Черные острые глаза. Энергичное лицо с острым подбородком, с твердым очерченным тонким носом и выпуклым лбом.

— Лессли. Изобретатель Лессли. Вы еще ничего не слышали обо мне? Меня знают в каждом доме Мировой Коммуны. Я интересуюсь вами. Как вы себя чувствуете?

— Хорошо. Вполне хорошо.

— Я видел вас, Евгения Моран. В университете. Вы нравитесь мне. Женщины вашей эпохи красивы...

— Зачем вы об этом говорите, Лессли?

— Я не говорю, а думаю. У нас нет тайн. Идеограф передает каждую тайную мысль. Мы не властны ничего скрывать... Вы мне нравитесь, Евгения Моран!

— Мне нечего ответить вам. Я вас не знаю.
— Вы не хотите говорить со мной?
— О нет! Я не думала этого...
— Викентьев! Вы связаны с Евгенией Моран. Вы любите ее?

— Мы двое в одном этом чужом нам мире. Мы связаны нашим одиночеством среди вас. Но...

— Я, Лессли, спрашиваю вас не об этом. Связана ли с вами Евгения Моран, как женщина? Любит ли она вас? Любите ли вы ее?

— Мы не думали об этом.

Викентьев и Евгения видят на экране себя самих и Лессли. Лессли протягивает к Евгении руки.

— Вы нравитесь мне. Если бы стали моей подругой... У нас чувство свободно, и если мой призыв находит у вас отклик...

— Я ничего не могу сказать вам, Лессли. Я вас совсем не знаю.

— Я, — Лессли, изобретатель идеографа. Сейчас я работаю на острове Яве над изумительным прибором... Я ведь поглощен своей работой. Но вы позволите мне в часы отдыха говорить с вами?

— Ничего не имею против этого.

Гаснет изображение на экране. В комнате вспыхивает свет.

— Это смело со стороны этого Лессли, — говорит Викентьев и морщится от странного чувства не то тоски, не то страха.

— И неожиданно, — добавляет Евгения и смотрит пристально на Викентьева.

Викентьев напряженно думает. О чем спросил его Лессли? О его отношении к Евгении. У нее голубые глаза и волосы цвета сумерек. У нее звенящий голос... Но не в этом дело, не в этом... Она ему близка, потому, что они одиноки, она — единственная.

Евгения думает о словах Лессли. Эти люди 22-го столетия обладают совершенно иным душевным складом. Что она знает о них? Почти ничего. Точно пустыня вокруг нее. Если

бы не было Викентьева, то... Евгения вздрагивает при мысли об этом.

Они не отняли еще чашечек идеографа от своих висков и читают мысли друг друга. Викентьев протягивает обе руки Евгении:

— Единственная!

Она не отнимает своих рук и, раскрыв губы, неслышно шепчет что-то. Викентьев улавливает по идеографу.

— Он близкий... Самый близкий... Родной...

Викентьев крепко сжимает обе руки Евгении. Она вся сжалась — миленький дорогой клубочек.

— Это я, Стерн. Вы здоровы, мои друзья?

На экране идеографа улыбается сморщенное лицо Стерна.

— Я был два дня на силовой станции. Да, вы, вероятно, не знаете, что это. Смотрите на экран. Я вызову ее в своем воображении, и ее отражение из моей памяти перенесется по идеографу к вам.

Изображение Стерна на экране тускнеет. По идеографу доносится рев потока. Мощный искусственный водопад свергается с огромной вышины. Вода падает в гигантские турбины. Они вращаются и приводят в движение десятки динамо-машин. Светящееся здание из дураллюминия сотрясается от стука машин. Внутри здания — ни души. Автоматические регуляторы управляют работой машины. Вот соскочил передаточный ремень. Снизу поднимается трехзубая вилка и, подхватив ремень, надевает его на колесо, с которого он сорвался.

Идеограф отпечатывает мысленное объяснение Стерна:

— Это силовая электростанция. Она работает сама, без человеческого присмотра, как большинство наших механизмов, при помощи саморегуляторов. Ее движение вечно, пока бьет водопад, а водопад неистощим, потому что его питает океан. Она рассылает миллионы киловатт-часов электрической энергии заводам и фабрикам. В случае поломки, станция автоматически дает сигнал в бюро повреждений и вызывает механиков.

Изображение электростанции исчезает. На экране опять Стерн.

— Теперь, друзья мои, подымитесь на террасу. Сейчас будет произведен плебисцит о принятии вас в число граждан Мирового Города.

— Но мы не знаем вашего политического строя. Мы ничего не знаем.

— У нас нет политического строя, — коротко отвечает Стерн и скрывается.

Викентьев и Евгения поднимаются на террасу. Ее лужайки, аллеи, фонтаны залиты тем же серебристо-голубым светом. Та же тихая музыка разносится радио-мегафоном по всему миру из невидимого, далекого концертного зала и слышится и на террасе.

Аллеи запружены движущейся человеческой лавиной. Над головами снуют воздушные корабли, светящиеся окошками своих кают.

Высоко на небе точно чиркнули спичкой. Огненный жгут ракеты. Она рассыпалась дождем алых, желтых и фиолетовых звездочек. Музыка мгновенно обрывается.

Невидимый радио-мегафон произносит несколько слов на странном языке. Викентьев и Евгения улавливают знакомые созвучия, но этот язык энергичнее и экономнее языков их эпохи, и им трудно понять, о чем идет речь.

Их окружает толпа, приветственно машет руками и выкрикивает те же слова. Несколько рук поднимают их над головами. Крики становятся громче. Им надевают идеограф, и они улавливают сознанием:

— Мировой Город приветствует вас, жители древнего мира, и принимает вас в число своих граждан. Вы пользуетесь всеми благами наравне с нами.

На небе выскакивают какие-то огненные знаки, чередующиеся световыми иллюстрациями. Иллюстрации изображают гробницы, их извлечение подъемными кранами из океана, вскрытие, пробуждение Викентьева и Евгении.

— Электро-газета, — объясняют им по идеографу. — Сообщите, пожалуйста, в электро-газету историю вашего усыпления. Вспомните все, что было, и этого достаточно.

Викентьев мысленно восстанавливает картину своего усыпления. И тотчас же на небесном экране вспыхивает текст и ряд изображений: профессор Моран, его лаборатория, пробуждение его собаки, его помощники, операционный стол, хлороформирование Викентьева.

— Электро-газеты отражаются на всем полушарии, — объясняет кто-то. — На восточном полушарии ее воспримут через идеограф, потому что там теперь день, а днем небо не может служить экраном.

Движущиеся огненные буквы на небе тускнеют и гаснут. Вместо них вспыхивают огненные цифры.

— Плебисцит о принятии вас в число граждан, — узнают по идеографу Викентьев и Евгения. — Это номера кварталов Мирового Города, высказавшихся в вашу пользу... Теперь номера кварталов, голосующих против. О, их совсем немного... Вы приняты почти единогласно.

Снова шумят приветственные восклицания. Какая-то гражданка, взобравшись на выступ террасы, произносит короткую речь, обращенную к Викентьеву и Евгении:

— Пришельцы из древнего мира! Мы, граждане Мирового Города, Мировой коммуны, не знаем ни государств, ни границ, ни наций. Мы одна нация — человечество, и у нас один закон — свобода. У нас нет правительства, ни назначенного, ни выборного; у нас нет политического строя. Но в нашем обществе царит гармония, порядок, согласованность, товарищество. Вместо органов насилия и принуждения, мы создали органы учета и распределения. У нас нет обездоленных и подавленных. Мы все равны, все свободны, все слиты в одном устремлении к полному братству. И мы, свободные люди, приветствуем вас, детей рабской и кровавой старины! Мы хотим вас принять в свою свободную среду и приобщить вас к нашему коммунистическому миру.

Гражданка окончила речь. К террасе причаливает воздушный корабль. Стерн спускается с корабля и, взяв под руки Викентьева и Евгению, ведет их по трапу на палубу.

— Мы сделаем с вами большое путешествие по Мировому Городу, чтобы познакомить вас с его организацией.

Корабль бесшумно отчаливает от террасы и плывет над залитым огнями Мировым Городом.

Воздушный корабль скользит над Мировым Городом. Бесшумно всплывает вверх и режет острым носом пряди облаков. Он из легкого металла, дураллюминия. На палубе три каюты с зеркальными окнами, а на носу — капитанская будка, вся из стекла. Остов корабля покрыт светящейся массой и он разбрасывает во все стороны пучки белых лучей.

Стерн от времени до времени заходит в капитанскую будку и садится у аппарата, напоминающего пианино. Он нажимает клавиши, соединенные с рычагами руля, мотора и воздушных камер, находящихся в полом трюме корабля, и направляет его бег — подъем, спуск, повороты. Внутриатомная энергия приводит в действие поршни. Они сгущают воздух в системе воздушных камер до нескольких атмосфер, выталкивают его, короткими толчками, из клапанов наружу. Эти толчки уплотненного воздуха создают воздушную струю, несущую корабль. Повороты регулируются боковыми клапанами, подъем — нижними, спуск — верхними.

Викентьев и Евгений стоят у борта и любуются Мировым Городом, бегущим под кораблем. Берега Америки — позади. Лоснится темный шелк океана. По молу, воткнувшему свой длинный палец на сотню миль в океан, по насыпанным островам, связанным висячими мостами, все тянутся и тянутся серебристо-голубые, светящиеся каналы улиц, дома-сады, висячие мостики, точно оплетенные зеленью, и зеленые аллеи террас, играющие фейерверками огней.

Соединенные проводами идеографа, Викентьев, Стерн и Евгения читают мысли друг друга. Викентьев и Евгения потрясены ширью Мирового Города и мощью нового человечества, проложившего улицы через океан, овладевшего стихиями, заменившего всюду себя машинами.

— Каким образом создается этот идеальный порядок? — шевелится в уме Викентьева. — Кто управляет Мировым Городом?

— Никто, — доносится ответ Стерна. — Правительство не нужно там, где нет классов и нет мотивов для принужде-

ния. Каждый гражданин Мирового Города живет так, как хочет. Но каждый хочет того, чего хотят все.

Викентьев и Евгения не могут понять согласованности интересов и влечения всех граждан Мирового Города при полной свободе воли каждого из них.

Стерна несколько не удивляет их непонятливость. Он терпеливо объясняет им:

— Вас отделяет от нас двести лет. Вам трудно понять нашу коммунистическую психику. Вы — дети классового общества. Вспомните, что было в ваше время. Борьба людей с людьми затмевала общие интересы человечества и обострила классовые, групповые, личные интересы. Человек жил в обществе волков и сам был волком. То, что было выгодно одному, шло вразрез с выгодами других. У нас нет ни классов, ни групп, ни конкуренции. Мы спаяны общностью. Мы — одна коммунистическая семья. Наша спайка состоит в стремлении полностью овладеть силами природы...

— Но бывают же в вашем коммунистическом обществе преступные элементы: воры, убийцы, — возражает Викентьев. — Бывают эгоистические натуры, лентяи, сластолюбцы...

Стерн улыбается и качает головою:

— Как вы далеки от нашей эпохи! У нас нет собственности. Каждый гражданин имеет все, чего он хочет. Для преступления нужны мотивы, причины. У нас этих причин нет. Зачем я стану воровать, если я могу иметь все, что бы я ни захотел? А эгоизм, лень... Века бесклассовой, коммунистической культуры вытравили эти пороки. Каждый из нас чувствует себя членом человеческой семьи. Если я буду себялюбив или ленив, то от этого будет ущерб обществу и вместе с ним мне. И потом, мы так мало работаем — по 2-3 часа в день! Мы всюду заменили физический труд машинами и даже надзор за работой машин заменили саморегулирующими машинами. Организм каждого человека требует движения, и этой потребности вполне достаточно для той работы, которую должен выполнить каждый член нашего общества. Только больные люди не чувствуют этой потребности, и тогда мы их лечим...

Евгения недоверчиво глядит на Стерна и думает:

— Тут что-то не так. Ведь нужен же общественный аппарат, регулирующий отношения между людьми. Семья, например...

Она не доканчивает своей мысли; в ее ум врывается мысленный ответ Стерна:

— Семьи у нас нет. Мы свободно сходимся и расходимся.

— А дети? Куда вы деваете детей? — горячо блестя глазами, спорит Евгений.

— Дети — достояние Мирового Города. Они воспитываются на Горных Террасах. Мы как раз летим туда. Вы увидите.

Евгения не удовлетворена и мысленно отвечает:

— Вы свободно сходитесь и расходитесь. Ну, а ревность?

Стерн не понимает:

— Ревность? Что это такое — ревность?

— Я люблю человека, мы принадлежим друг другу. Но он полюбил другую и уходит... А я не могу отказаться от него. Он — мой. Я не могу уступить его, я страдаю. Я ненавижу ту, которая отняла его у меня, и способна на преступление. Вот что такое ревность.

Эта горячая тирада поражает Стерна. С широко раскрытыми глазами он смотрит на Евгению, потом на Викентьева.

— Ведь это дико! — восклицает он вслух. — Он мой, она моя... Разве человек может быть моим, твоим? Это же унижает человека! Я не понимаю этого.

И вдруг Стерн вспоминает:

— Ах да, да, да. Ваши писатели так много писали об этом диком чувстве. И это соответствовало вашему общественному строю. Человек мог купить силу и мысль другого человека, и поэтому вам было свойственно собственническое чувство и в отношениях полов. Кажется, у вас даже любовь покупали. Не так ли?

— Покупали, все покупали, — подтверждает Викентьев.

— Нет, мы не знаем этого дикого чувства, — говорит Стерн.

Но вопрос о ревности тронул какую-то больную струну в душе Стерна. Он задумался, и его мысли долетают до Викентьева и Евгении:

— Нэля... Я любил ее... Потом ушел с Майей... Нэля все еще любила меня... Мой друг Лесли свез ее в лечебницу эмоций, и Нэлю вылечили.

— Вылечили! — восклицают Викентьев и Евгения. — У вас лечат от любви?

— В лечебнице эмоций лечат гипнотическим внушением. Нэле внушали равнодушие ко мне, и она забыла меня.

И опять какие-то тяжелые воспоминания поднимаются в душе Стерна. Он снимает с себя чашечки идеографа и отделяет себя от своих спутников.

Внизу, под кораблем, огни становятся гуще, сливаются в сверкающие потоки. Корабль летит над тем краем Европы, где были когда-то Лондон и Париж, отделенные Ла-Маншем и провинциями Франции. Теперь через Ла-Манш, Лондон и Париж протянулись друг к другу улицы и слились в один район гигантского Мирового Города. Корабль ускоряет свой бег, приближаясь к области Горных Террас.

Горные Террасы расположены в Швейцарских Альпах, в Пиренеях и Апенниннах. Они тянутся также в Азии, в лучших местах Гималаев, и в наиболее здоровой части Памира. Здесь, в яслях, в детских колониях и площадках, в детских дворцах, сосредоточено все детское и юношеское население Мирового Города...

Воздушный корабль снизился и пристал к террасе, охватывающей, как гигантская полка, снеговую вершину Юнгфрау. Из густого иглистого леса альпийских сосен, посаженных по террасе, подымается к небу огромный стеклянный купол Детского Дворца. Аллея с яркой каймой цветов, с желтой, посыпанной песком, ровной дорожкой, ведет к Детскому Дворцу. Перед дворцом — широкая круглая площадка, в центре которой звенит, играя струями в лучах солнца, фонтан с мраморным водоемом.

Звон детского смеха. Несколько сот детей, мальчиков и девочек, совершенно голые, с бронзовым от загара телом, занимаются гимнастикой на площадке. Здоровые, краси-

вые, стройные тельца упруго и ловко делают под бодрую музыку ритмические движения. Острые глазенки следят за руководителем, тоже голым, с кофейным телом, красиво сложенным человеком. С палочкой в руках он стоит на возвышении, видимый всем детям, и проделывает те же упражнения, пересыпая свои движения веселыми остротами и шутками.

— Смейтесь, друзья! — кричит он. — Смех развивает легкие и хорошо действует на нервную систему. Бодрость! Радость! Раз-два!

Часть детей, окончивших упражнения, плещется в холодном водоеме и, вытерев насухо тело, растирает его докрасна под наблюдением другого руководителя.

— В Мировом Городе придают исключительное значение физическому развитию, — говорит Стерн. — Тело юного гражданина Мирового Города должно быть красиво, гармонически развито, здорово.

— А что вы делаете с больными детьми? — спрашивает Евгения.

— Мы помещаем их в детские санатории в самых здоровых местах Горных Террас. А безнадежно больных — идиотов, физических уродов — мы умерщвляем в младенчестве безболезненным способом.

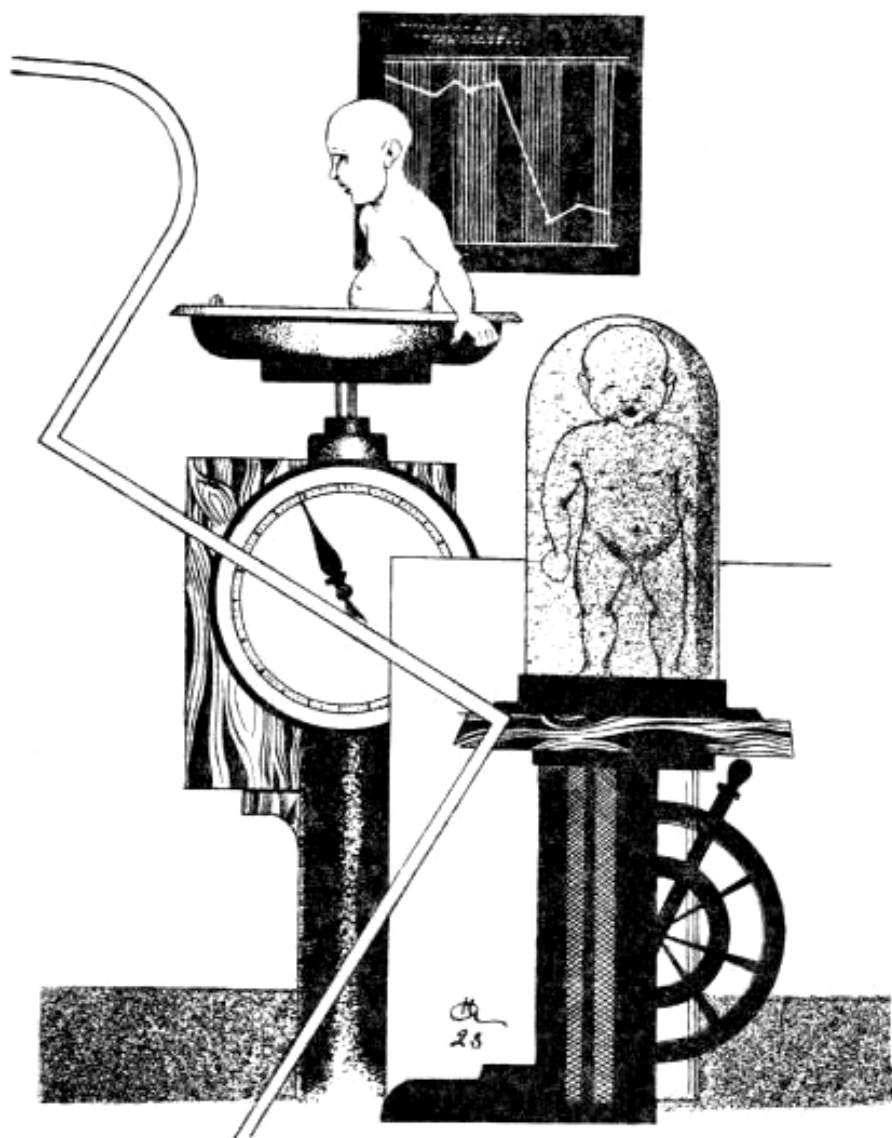
Викентьев и Евгения не могут оторвать глаз от детского цветника, но Стерн торопит их. Они входят во Дворец. Он весь из стекла. Яркие, радостные, полные света и цветов, комнаты, сверкающие чистотой, душистые от ароматов.

Первая комната — приемник. Врачи в белом взвешивают и выслушивают только что прибывших младенцев. Их ассистенты — подростки, воспитанники Горных Террас. Врачи дают короткие объяснения своим молодым помощникам и ученикам.

— Слабая грудь! В Давос, — отмечает врач одного хилого младенца.

— На Южные Террасы! — отмечает врач другого.

...Огромный зал с мягким ласковым светом. Тихо журчит где-то музыка. Ряды белых кроваток. Над кроватками, перед глазами младенцев, висят разноцветные шарiki. Вот у



одного ряда кроваток сами собой раскрылись стеклянные створки окна. Зеркальный отражатель направил на голых детей поток солнца. Сами собой поднялись из-под изголовья кроваток зонтики и затенили головы детей. Несколько минут. Автомат поворачивает ребенка другой стороной к солнцу.

— С первых дней младенчества, — рассказывает Стерн, — мы развиваем у детей слух и зрение. Музыка и эти цветные шарики служат этой цели. Воздушные солнечные ванны укрепляют и закаляют их тело.

Наверху, под куполом, круглое фойе, залитое солнцем. Из откинутых створок окна видна подернутая синей дымкой даль. Сверкают алмазами короны гор. Крапины изумрудных лесов. Лазурные пятна озер. И солнце! Солнце!

Дети сидят и набрасывают на полотно сочные мазки красок. Они умело передают игру света и теней, переливы, оттенки цветов, и кажется, что все эти дети талантливы. И та же мысль об одаренности детей Мирового Города приходит в голову Викентьева и Евгении, когда они заглядывают в музыкальную студию, где дети разыгрывают свои музыкальные сочинения, в студию словесности, где малыши читают свои стихи, яркие, звонкие, образные.

— Какие гениальные дети! — любят ими Викентьев и Евгения.

— Гениальные? — усмехается Стерн.

— Все люди талантливы, если их умело воспитать. В наше время нет бездарных людей. Мы подчинили себе природу человеческого ума и духа и направляем ее по своей воле. Путем воспитания физической и умственной культуры, мы создаем талантливых поэтов, художников, музыкантов.

Открывается широкий люк в куполе; в люке видны светлые борта воздушного корабля. Спущен трап. Светлая цепь детей поднимается по трапу на корабль.

— Куда вы летите, дети? — улыбаясь им, спрашивает по идеографу Евгения.

— На север, на юг, по всему миру, — несется ответ. — Мы летим учиться у морей, у гор, у ледников, в глубинах океана...

— В глубинах океана? — переспрашивает Евгения.

— Да, да! Мы спустимся на дно океана в подводных кораблях.

— Мы будем учиться на заводах и фабриках Мирового Города.

— Где же все-таки ваша школа? — спрашивает Викентьев.

— Тут, там, везде, на всем земном шаре, — доносятся бойкие ответы.

Стерн сияет радостью и гордостью.

— У нас нет школьных скамеек и душных аудиторий, как ваше время, — говорит он. — Наше юношество и наши дети учатся на свободе, изучая геологию в недрах земли, ботанику — в лесах и полях наших террас, физику — в природе... У нас почти нет книг. Юное поколение рыщет по всему земному шару и добывает своей пытливостью и трудом знания. Руководители им ставят задачи, и дети сами разрешают их.

Одна группа молодежи, взбирающаяся по трапу, сообщает:

— Нам поставлена задача исследовать морскую растительность и животный мир.

Другая группа говорит:

— Мы должны произвести исследования на том месте Мирового Города, где находился Рим, и подготовить материалы для докладов по древней истории.

— А мы изучим жизнь одноклеточных животных в Тихом океане и привезем доклад по биологии...

На трюсах поднимают на корабль огромный телескоп. На учебном воздушном корабле устроена башня-обсерватория, химические лаборатории, радио-идеограф.

Трап убран. Корабль мягко фыркает поршнями и взвывается ввысь. Гирлянды юных голов у перил палубы. Звонят голоса. Машут руки. Корабль делает поворот и скрывается за голубой ледяной шапкой Юнгфрау.

II.

Великий изобретатель.

— Это я, Лессли! Вы расположены говорить со мной, Евгения Моран?

Над радио-идеографом, на стене каюты Евгении, вспыхивает белая искра, разрастается в светлый прямоугольник, и в прямоугольнике света — сильная фигура Лессли.

У Евгении отчего-то взволнованно стучит сердце и приливает кровь к лицу. Она много думала о Лессли, хотела его видеть... Но как же Викентьев? Лессли и Викентьев — кто ей дороже?

У Лессли лицо светлеет. Он читает по идеографу то, что творится в душе Евгении.

— Да, да, я много думала о вас. Я не знаю... Я не понимаю, что творится во мне, Лессли. Викентьев... Вы...

На экране Евгения видит: призрачное отражение себя и четкое отражение Лессли. Он хватается руки ее призрака, целует их, целует ее лицо. Это радио-идеограф отражает мысли Лессли.

На острове Ява, у себя в кабинете, Лессли видит на экране две призрачные фигуры — свою и Викентьева. А между ними четкую фигуру Евгении. Она мечется между ним и Викентьевым. Это мысли Евгении.

— Вы любите меня, Евгения Моран, а с Викентьевым вы связаны общностью эпохи. Вы любите меня, меня... Но подумайте над собою. Вы еще не решили вопроса, не определили своего чувства. Я буду ждать, Евгения Моран...

Фигура Лессли исчезает. Светлый прямоугольник гаснет, но через несколько минут он опять вспыхивает и с экрана снова глядят энергичные глаза Лессли:

— Извините! Я забыл предупредить вас. Через час произойдет что-то... Я не могу сказать... Не пугайтесь.

И сразу погасло изображение Лессли, который быстро

сбросил чашечки идеографа, чтобы Евгения не прочла его тайны.

Евгения прижимает руки к сердцу: как оно бьется. Отчего он так скоро исчез?

Вдруг луна начала падать ни землю. Или земля на луну. Только что она была серебряной чечевицей на синем небе и вдруг начала расти. В четверть часа ее диаметр вырос до сажени... И еще: все небо заволось густой дымчатой пеленой, закрывшей звезды, и только луна вырезывается из этой пелены и растет, растет... Десятки обсерваторий Мирового Города тревожно перекликаются по радио-идеографу:

— Что это? Что это? — Мировая катастрофа? Нарушены законы тяготения! Конец земле!

— Сейчас начнутся страшные циклоны!

— Наблюдайте за магнитной стрелкой! Будет магнитная буря!

— Мир погибнет прежде, чем земля столкнется с луною, от взрыва земной атмосферы!

Все жители восточного полушария, где наблюдалось это явление, высыпали на террасы Мирового Города и с немим ужасом глядели на небо.

Ни звезд, ни синевы. От горизонта до горизонта коричневатой-дымчатая пелена, и на ней огромное лицо луны. Она закрыла уже четверть небесного свода. Вот ее горы и кратеры, резко-черные с теневой стороны, ослепительно белые — с солнечной. Мрачные, мертвые пропасти. Белые пески.

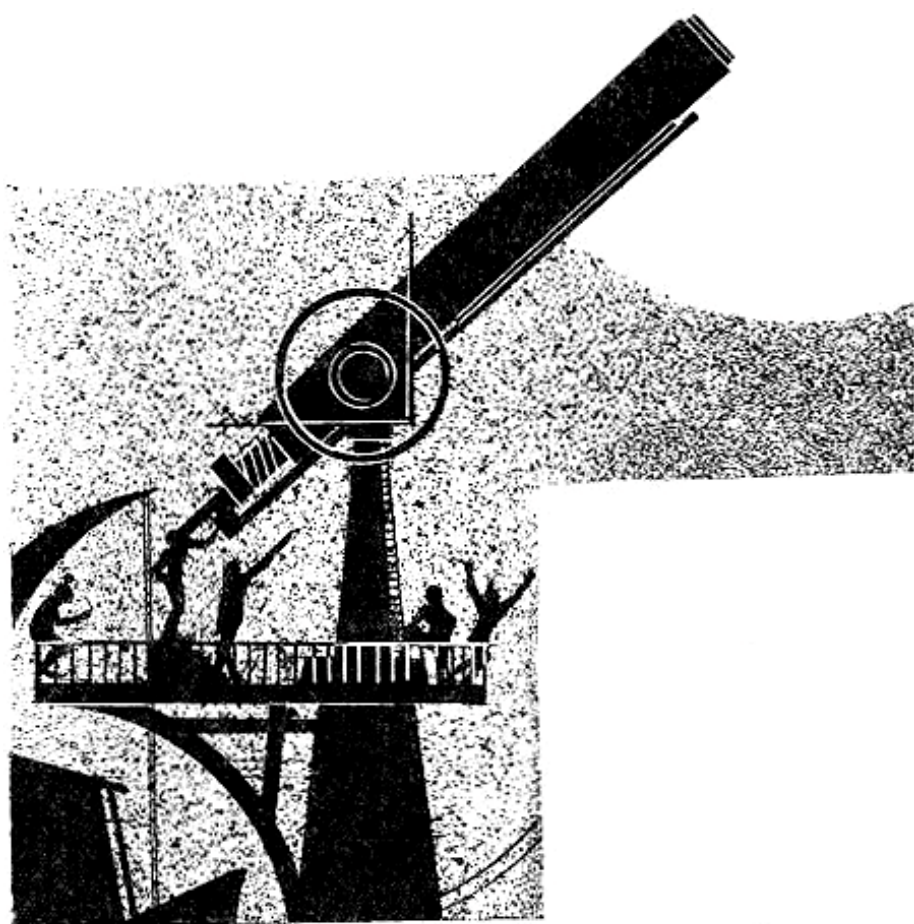
Обсерватории перекликаются:

— В земной атмосфере нет изменений!

— Магнит — в покое!

— Циклонов нет!

— Наука обанкротилась! Мы ничего не знаем! — твердит по радио один растерявшийся ученый.



— Нет! Нет! Наука не лжет! Лгут наши глаза, наши приборы! — отвечают другие.

Полнеба охватило лицо луны. Ясно видны трещины на склонах гор, морщины лунной коры заполнены чем-то белым. Снег?

Еще четверть часа. Весь небесный свод от края до края накрыт вогнутой чашей луны. Камни, скалы, острые зубы сбиты в мертвые кучи. На солнечной стороне какое-то неуловимое движение. Что это — жизнь?

Из одного конца Мирового Города в другой идеограф мчит прощальные призывы:

— Элла! прощай. Мы все умрем!

— Прощай!

— Мне страшно. Н не хочу умирать!

— Мужайтесь, граждане!

Воздушный корабль спускается. Стерн бледный, но спокойный, работает в капитанской будке. Викентьев застыл в ужасе. Вцепившись в перила палубы, он вскинул вверх голову и смотрит расширенными глазами на страшный, холодный, мертвый ландшафт луны, не слушая и не понимая Евгении, которая твердит:

— Успокойтесь! Это ничего! Я знаю, что это ничего...

И сразу, точно чья-то мощная рука сорвала с неба огромный диск луны, закрывший его. Опять луна висит маленьким серебряным кружочком в высокой синеве, опять горят пушистые звезды.

И, отекая ивываясь золотыми письменами на небе, сообщает всему миру световая радио-телеграмма:

Я, изобретатель Лессли, демонстрировал свое новое изобретение — кино-телескоп. Он состоит из телескопа и усовершенствованного мною кино-аппарата. Телескоп от-

брасывает отражение в объектив кино-аппарата, увеличивающего изображение в 20 миллионов раз.

Мощный рефлектор покрывает небесный свод тeneвым экраном, а кино-аппарат отбрасывает на этот экран изображение. Отныне астрономические наблюдения возможны не только в обсерваториях, но и простым невооруженным глазом и, кроме того, астрономические явления становятся зрелищем масс.

— Лессли, это вы?

— Да, это я, Евгения. Как я рад.

— Но почему я не вижу вашего изображения на экране?

— Я разъединил световой провод. Я не хочу, чтобы вы видели мое лицо.

— Почему? Впрочем, вы не можете скрыть своих чувств. Я ощущаю по идеографу: вы расстроены?

— Да, Евгения. Я сержусь на самого себя. Я выкинул непростительную мальчишескую выходку с этим опытом.

— Зачем же вы это сделали? Вы привели Мировой Город в страшное смятение.

— Я не ожидал такого переполоха, Евгения... Но все равно, это непростительно!

— Покажитесь же, Лессли. Я хочу вас видеть.

На экране расстроенное лицо Лессли. Но уже начинает светлеть. Глаза теплеют нежностью.

— Евгения! Евгения! — вторит он.

— Слушайте, Лессли, вас не привлекут за это к суду?

— К суду? Что это такое? Ах, да! У нас нет этого. Мы сами себя судим.

— Но власти... Они не наложат на вас наказания? Все возмущены вашей выходкой.

— Какие наказания! Гражданина Мирового Города никто не может наказать. И властей у нас никаких нет.

— Ну, не власти, а те, кто регулирует распределение и труд. Они вам ничего не сделают?

— Высшее учетное бюро? Это совсем не их дело. Их выбирают для учета, регистрации и распределения. Единственная власть — это мы все вместе, все граждане Мировой

Коммуны. Кроме того, я уже сам достаточно сознаю свою вину и сообщил о своем раскаянии световой идеограммой. Ну, бросим это.

— А я беспокоилась за вас.

— А я не перестаю думать о вас. Я хотел бы видеть вас не на экране, а близко.

— И я вас... То есть не то...

— Нет, именно то. Я читаю ваши мысли. Завтра я буду у вас на корабле.

— Лесли. Я не знаю... Я теряюсь...

Ей стыдно своих мыслей и она разъединяет идеограф.

III.

Мозг Мирового Города.

Когда-то над Парижем виселось кружевное легкое плетение — Эйфелева башня. Теперь она затерялась среди террас и вышек дворцов, вонзившихся в небо.

После посещения швейцарских террас, Стерн повернул корабль назад, направляясь к Парижскому Сектору Мировой Коммуны. И вот сейчас Стерн в капитанской будке нажимает клавишу на спуск. Переборки верхних воздушных камер захлопываются, нагнетательные наносы накачивают воздух в верхние камеры, из верхних клапанов вырываются струи сжатого газа и толчками снижают корабль.

Густая паутина проводов изрезывает небо над Парижским Сектором. Корабль лавирует: скользит, ныряет, изворачивается. Стерн бежит пальцами по клавиатуре, как опытный пианист, и нажимает клавиши — направо, налево, крутой поворот, скачок вверх, прыжок вниз, стой!

Все провода тянутся к огромному дворцу в центре Парижского Сектора. Ближе к дворцу они так густы, что покрывают небо частой сетчаткой. Корабль вынырнул из паутины проводов и плывет над этой сеткой среди роя других

кораблей, больших, с сотнями пассажиров, и маленьких — двух или трехместных воздушных шлюпок и яхт.

Вокруг башни дворца лепятся четыре яруса балконов. К этим балконам причаливают воздушные судна. Эта воздушная гавань полна сотнями кораблей. Они пристают друг к другу и перекидывают трапы на палубы средних кораблей. На куполе башни горят шесть букв:

«В. С. Б. Ф. М. К.»

Эти буквы означают:

«Высшее Статистическое Бюро Федерации Мировой Коммуны».

Викентьев, Евгения и Стерн переходят с трапа на трап, повисшие над пропастью в сотню метров глубины. На дне этой пропасти — круглая площадь, вымощенная плитами папье-маше, стиснутая стенами домов, накрытая сеткой проходов.

У входа в башню их ждет лифт. Они скользят вниз, по люку лифта. Отзванивают этажи, мелькают белые круглые коридоры с десятками дверей, с сотнями спящих по ним людей.

Лифт останавливается. В дверях светлой, залитой солнцем комнаты, их встречает высокий, плотный, мощно сложенный человек, с выпуклым лбом мыслителя, в одежде из светлой ткани. Его ясные серые глаза с любопытством останавливаются на Викентьеве и Евгении.

Стерн произносит несколько слов. Старик весело кивает головою и надевает чашечки идеографа.

— Я — Мак Тодд, председатель Высшего Бюро, — сообщает он.

Так вот он, глава Мировой Коммуны. Глаза Викентьева и Евгении впиваются в Мака Тодда. Значит, у них все же есть правительство. Этот старик, Мак Тодд, президент Мирового Города.

Но Мак Тодд энергично возражает:

— У меня нет никакой власти. Я избран на трехмесячный срок, объединяю работу Высшего Статистического Бюро,

которое ведает учетом и распределением, но которое не обладает никакими правительственными полномочиями.

В кабинете Мака Тодда несколько аппаратов идеографа. Они ежеминутно вызывают его, и он, прерывая беседу, отвечает на вызовы.

— Очевидно, вам неясна общественная организация Мировой Коммуны, — говорит он Викентьеву и Евгении и, присоединив их при помощи проводов к аппаратам своего кабинета, добавляет:

— Слушайте, и вы поймете.

— Нью-Йоркский Сектор сообщает, что у него имеется 70 миллионов киловатт часов электро-энергии сверх потребного ему количества, — доносится по идеографу.

— ...В Римском Секторе достигло трудовой зрелости 250 тысяч граждан, из которых 100 тысяч превзошли потребности Сектора в силовых единицах.

— ...В Венском Секторе родилось за неделю 4.020 детей. Половой состав будет сообщен дополнительно.

— ...Вашингтонскому Сектору требуется 2.000 силовых единиц живой силы. Пришлите немедленно.

— Перебросьте в Московский Сектор 6 миллионов тонн дураллюминия.

Мак Тодд весело смотрит на своих собеседников своими ясными глазами: разве теперь им непонятно, что деятельность Высшего Бюро состоит в учете сил, богатств и работы Мировой Коммуны и в их распределении? Никакой власти, никакой принудительной силы, только учет, точный учет.

В каждом Секторе Мирового Города — учетное бюро. Сто Секторов в Мировом Городе — сто учетных станций. Каждый Сектор делится на районы с районными станциями учета. Каждый район делится на кварталы. Квартальные учетные станции связаны с домовыми подстанциями, стоящими во главе каждого дома Мирового Города. Сеть статистических станций — вот вся общественная организация Мирового Города.

— Но тогда у вас целая армия чиновников, — возражает Викентьев.

Мак Тодд отрицательно качает головою:

— Ни одного чиновника! Все взрослые граждане поголовно участвуют в работе станций. Самый долгий срок полномочий — три месяца, самый краткий — несколько часов. Пятерка домовой подстанции обновляется ежедневно, квартальной — каждые трое суток, районной — еженедельно, в Секторе — ежемесячно и в Высшей Станции — каждые три месяца.

У Евгении все-таки есть довод против Мака Тодда. Блестя глазами, она возражает:

— Вы говорили, что у вас нет принуждения. Неправда, оно есть. Вы перебрасываете силовые единицы из Сектора в Сектор. А эти силовые единицы — живые люди. Что, если я не желаю быть силовой единицей?

Мак Тодд с удивлением смотрит на Евгению:

— Как вы можете не желать того, что вам полезно и доставляет нам наслаждение?

— Быть в распоряжении общественного механизма — это вы называете наслаждением? — возражает Евгения.

Стерн вмешивается в разговор:

— Вы не понимаете нашей психики. Мы слитны. Высшее наслаждение и гордость каждого из нас — творчество. Мы стремимся, мы жаждем творчества, и каждый гражданин, как награды, ждет сообщения станции о том, что он там-то нужен, что там-то без него нельзя обойтись.

— Посмотрите в окно на площадь и вы увидите эти «силовые единицы», — предлагает им Мак Тодд.

На широкой площади строятся колонны. Стройные прямолинейники людей. Во главе каждой колонны — знаменосец с алым знаменем. Знамена развернуты и полощутся в воздухе. Сверкают шитые золотом на полотнищах надписи:

— На электрические станции! — переводит по идеографу надпись на знамени Стерн.

— Мы на транспортную службу!

— Мы к радио-экскаваторам! На рудники!

— Мы — на станции радио-идеографа!

Евгения хочет знать, что чувствуют эти колонны «силовых единиц». Она все еще не верит, что в Мировом Городе нет принуждения.

— Это можно, — соглашается Мак Тодд и переводит про-вод идеографа на радио-связь по воздуху.

И Евгения слушает прибор чужих мыслей и настроений. В этом хаосе тысяч мыслей и чувствований трудно разоб-раться, но все они сливаются в один радостный порыв:

— Скорее! Скорее! Скорее за дело!

Врачи осматривают прибывающие новые колонны и от-деляют больных и слабых. Мак Тодд, лукаво усмехнувшись, переводит приемник идеографа по направлению к группе забракованных. Радостный прибор сменяется унылыми жа-лобами:

— Гражданин! Я достаточно здоров, чтобы работать.

— Вы ошиблись! У меня вовсе не больные легкие. Я не хочу в Давос. Я хочу в шахты.

— Вот уже два года, как я — обуза на плечах сограждан. Не бракуйте меня.

Мак Тодд насмешливо говорит Евгении:

— Видите, вы были отчасти правы, когда утверждали, что у нас есть принуждение. Да, оно существует. Вот эти больные упорно хотят быть «силовыми единицами», — а мы их принуждаем не работать.

Шеренга за шеренгой поднимается на лифтах на воздуш-ную пристань и занимает свои места на кораблях. Воздуш-ные корабли с развевающимися флагами отчаливают, и, звеня песнями, «силовые единицы» разлетаются по Секто-рам Мировой Коммуны.

Зал с верхним светом. Вокруг него расходящимися кру-гами — комнаты. Из комнат лучами тянутся к залу трубы пневматической почты.

Под куполами центрального зала путаница проводов идеографа. Десятки идеографии принимают идеограммы со всех концов Мировой Коммуны. Другие ряды идеографов рассылают идеограммы в разные Секторы.

Стрекогут счетные машины. Из машин выбегают длинные бумажные ленты с отпечатанными цифрами. Автоматические ножи разрывают ленты на карточки. Автоматы-лапы подхватывают пачки карточек и перебрасывают их в приемники пневматической почты. По пневматическим трубам баулы с карточками бегут на тележках в свои отделения-комнаты.

Да, в свои отделения, потому что каждая комната имеет свое назначение. В одной расположены в подвижных замурованных ящичках карточки с итогами числа рождений и смертей во всех Секторах. У каждого Сектора свой шкаф с ящичками его районов, кварталов, домов. В другой комнате — карточки с цифровыми данными о количестве «силовых единиц»; в третьей — данные о выработке и роде продуктов, вырабатываемых Секторами Мирового Города.

Стрекогут счетные машины. Несколько десятков человек суетятся в центральном зале у счетных машин, у идеографов, у пневматической почты. Несколько десятков человек работают в отделениях над регистрацией.

— Это главный нерв Мирового Города, — сообщает Стерн. — Отсюда ответвляются нервы по всем станциям и подстанциям земного шара.

Утомленные, выходят они из счетного отделения, поднимаются на лифте на пристань и идут по трапам к своему кораблю. Корабль отчаливает. Стерн нажимает клавишу на подъем, и он взвивается к небу.

Навстречу кораблю плывет маленькая воздушная яхта. Она причаливает к нему. Высокий, крепко сложенный человек с острыми глазами перекидывает с борта яхты на борт корабля мостик, привинчивает его к палубе и переходит на корабль.

— Лессли! — восклицает Стерн в своей капитанской будке.

— Лессли! — шепчет Евгения, увидев его из каюты, и опускает вдруг вспыхнувшее лицо.

— Слушайте, Евгения Моран. Два дня я здесь на корабле, и вы еще ничего не решили. Я улечу один.

— Нет, нет, подождите. Лессли!

— Тогда улетим вместе.

— Я еще не могу... Нет, нет!

Они сидят на корме яхты Лессли. Утренняя заря льет теплую алость и окрашивает розоватою лазурью борта обоих судов, плывущих рядом. Внизу, в утренней опаловой дымке расстилается Японский Сектор Мирового Города.

— Вы любите Викентьева?

— Нет... Но я как-то связана с ним. Я вас люблю, Лессли.

— Так что же удерживает вас?

— Не знаю...

— Решимости больше! Решимости!

Рубином и перламутром играют облака на востоке. Высоко в розовеющем небе плывут золотые пушинки.

— Ваши женщины энергичны и самостоятельны, Лессли.

— Да. Но в вас больше мягкости.

— Из-за этой мягкости у меня не хватает силы оставить Викентьева одного. Куда вы идете, Лессли?

Лессли встает и направляется к борту яхты. Вырвавшийся из огненных облаков багровый шар солнца заткал золотом его мощную фигуру.

— Я хочу отчалить.

— А я?

— Вы полетите со мною.

— Лессли, погодите... Я не знаю...

— Тогда я отчалю один.

— Нет! Нет!

Лессли отвинчивает мостик. Евгения закрыла лицо руками, но не протестует. Они уходят в будку. Нажим клавишей. Яхта отделяется от воздушного корабля и взвизгивает вверх.

Викентьев бежит из каюты. Протягивает руки к яхте. Кричит:

— Евгения! Евгения!

Яхта круто поворачивает и, сверкая бортами, сливается с сияющими потоками солнечных лучей,

Викентьев перегнулся через борт. Стерн отрывает его от борта и ведет в каюту:

— Не надо, мой друг, не надо, — успокаивает он Викентьева.

Идеограф звонит:

— Викентьев, голубчик! Не огорчайтесь! Так надо! Я люблю Лессли.

Ночью Стерн находит Викентьева на полу каюты, с закрытыми глазами.

— Я одинок... Как в пустыне...

Корабль снизился и причалил к террасе. Стерн берет под руку Викентьева и спускается с ним в его комнату.

— Уходите, я хочу быть один, — просит Викентьев Стерна.

Стерн грустно качает головою и уходит.

В той комнате жила Евгения. Теперь ее нет. Он один, совсем один, в этом великом, но чужом Мировом Городе. Викентьев бродит по комнатам, опустив голову, подходит к радио-идеографу.

— Ява! Остров Ява! — вызывает он.

— Соедините с Лессли... Это я, Викентьев. Я хочу говорить с Евгенией.

Лицо Евгении. Ее волосы цвета сумерек. Лицо грустно, но глаза горят счастьем.

— Викентьев, мне вас так жаль!

Но Викентьев, против ее желания, читает ее мысли:

— Мне так хорошо! Я так счастлива! Жизнь моя полна! Лессли! Лессли!

Викентьев разъединяет идеограф и выходит из комнаты. Лифт спускает его вниз, на улицу. Он идет, сам не зная куда, по светящимся улицам Мирового Города. Тротуары почти пусты. Граждане Мирового Города — на террасах. В серебристо-голубом сиянии мчатся по мостовым радиомобили.

Надломленный, без мыслей в голове, Викентьев бродит по улицам, пересекает широкие площади, поднимается на горбы мостов, спускается в туннели. У него подкашиваются ноги от усталости, но он не останавливается.

Какой-то длинный бесконечный мост. Бруклинский мост. Викентьев шатаясь бродит по мосту. За ним увязалась собака, которая не отстает от него, и, когда он останавливается, она поднимает морду, виляет хвостом и тихо скулит. Он ежеминутно оглядывается — не отстала ли собака, и боится, что она уйдет от него.

Золотые пряди зари раскинулись на восточном склоне неба. Викентьев прислонился спиной к стене огромного дома. Собака сидит у его ног и, подняв к нему морду, тихо скулит.

— Собака, ты тоже одинока? Ты потеряла своих?

Не сознавая сам, для чего он это делает, Викентьев прикрепляет к голове собаки чашечки карманного идеографа, которым снабжен каждый гражданин Мирового Города.

Странное ощущение. Тоска по запаху, по острому запаху. Этот запах шел от человека с громким голосом. Где этот человек? Где хозяин?

Собака потеряла своего хозяина и тоскует. Викентьев потерял близкого человека. Собака и человек одинаково одиноки в этом всемирном муравейнике. Идем дальше, собака. Куда? Не все ли равно?

— Гражданин! Гражданин!

Кто-то трясет Викентьева за плечи. Он сидит на ступени высокого дома, опустил голову на руки и спит.

— Гражданин! Гражданин! Вы больны?

Викентьев раскрывает усталые веки и поднимает голову. Человек в светлом плаще положил свои руки на его плечи и говорит что-то.

— Где собака? Где собака? Она ушла?

Человек не понимает Викентьева и соединяется с ним идеографом.

— Собака? Вы потеряли собаку, гражданин?

— Да, собаку... Нет! Я потерял любимого человека, женщину, Евгению. Лесли ее отнял у меня.

— Отнял? Разве она вещь? Вы странно мыслите, гражданин!

Человек в светлом плаще с удивлением рассматривает Викентьева.

— Человеком невозможно владеть. Человека нельзя отнять. Он не предмет, — внушает человек в плаще.

— Она ушла от меня. Я ее люблю.

— О, теперь я понимаю вас, гражданин! Но это ее право. Тут ничего не поделаешь. Впрочем, если вам очень трудно, пойдемте.

Человек в плаще помогает Викентьеву встать. Викентьев не может стоять. У него подгибаются колени.

— Да вы совсем больны! — восклицает человек в плаще. — Погодите минуточку.

Он опять усаживает Викентьева на ступень, подходит к киоску идеографической станции и вызывает радиомобиль.

Усаживая Викентьева в радиомобиль, человек в плаще говорит:

— Я знаю, куда вас вести, чтобы вылечить. Через несколько часов вы будете совершенно здоровы.

— Сядьте в это кресло. Сидите спокойно и старайтесь не думать ни о чем. Смотрите на этот блестящий отражатель. Сосредоточьте на нем все свое внимание.

Маленький юркий человек, в белом халате, врач лечебницы эмоций, глядит своими пронзительными черными глазами в глаза Викентьеву и гладит его по голове, по лицу, по плечам. У врача повелительный резкий голос, и хотя Викентьев не понимает того, что он говорит, но чувствует себя во власти какой-то силы.

Врач соединяет себя с Викентьевым идеографом.

— Вы хотите уснуть! — повелительно диктует он Викентьеву. — Вы закрываете глаза! Вы дремлете!

Да, Викентьев хочет спать. Кресло плывет под ним. Еще несколько минут, и он почти теряет сознание. Но это не сон, а полудремота. Он ощущает присутствие врача и его силу.

— Евгения Моран, — произносит врач с чужим акцентом.

Веки Викентьева вздрагивают.

— Евгения Моран, — повторяет врач. — Она далекая. Чужая! Слышите? Нет тоски по ней. Слышите?

Странно, почему он тосковал по Евгении, дочери профессора Морана. Викентьев безвольно соглашается с врачом. Она далекая, чужая...

Он совсем теряет сознание. Врач осторожно выходит из кабинета и возвращается с помощником. Оба они переносят Викентьева на кушетку. Щупают его тело: оно в каталепсическом состоянии.

— Теперь вы просыпаетесь, — приказывает врач. — Вы больше не больны тоской по Евгении Моран.

Викентьев просыпается. Садится на кушетке. Он устал, разбит, но нет тоски и чувства потерянности.

— Где вы живете, гражданин?

Викентьев не может назвать того дома, в котором он живет. Он бормочет:

— Стерн... Я живу там, где Стерн.

— У нас очень много граждан с таким именем. Покажите-ка ваш идеограф.

На чашечках идеографа — номер. Врач вызывает станцию.

— Вы живете на улице Ленина, в доме № 107. Я вызываю радиомобиль. Он отвезет вас домой. В течение недели вы будете приезжать ко мне.

Через четверть часа Викентьев мчится по улицам Нью-Йоркского Сектора. В Мировом Городе он больше не чувствует себя одиноким и затерянным.

Воздушный корабль летит на восток. Викентьев с озабоченным лицом — на носу корабля в устремлении вперед.

— Это я, Викентьев, желает ли говорить со мной Евгения Моран?

— Что за вопрос, Викентьев?

На экране вспыхивает фигура Евгении. Викентьев спокойно смотрит на экран. Она ничего не тревожит в его душе.

— Откуда вы говорите, Викентьев?

— С воздушного корабля. Я отправляюсь в Уральский Сектор на работу.

— Это хорошо, Викентьев.

— Да, хорошо. Я гражданин Мировой Коммуны. Прошлое умерло.

— Прошлое умерло, Викентьев.

Да, прошлое умерло. Викентьев и Евгения Моран, ожившие через двести лет в новом мире, приобщились полностью к человеческой семье Великой Мировой Коммуны.

Несколько слов к читателю.

Всякая утопия намечает этапы и вехи будущего. Однако, утопист — не прорицатель. Он строит свои предположения и надежды не на голой, оторванной от жизни, выдумке. Он развивает воображаемое будущее из настоящего, из тех сил науки и форм человеческой борьбы, которые находятся в своей зачаточной форме в настоящее время.

Возможно, что многие читатели, прочитав этот роман, сочтут все то, что в нем изображено, за несбыточную мечту, за досужую выдумку писателя.

Но автор вынужден сознаться в том, что он почти ничего не выдумал, а самым старательным образом обобрал современную науку, технику и — самое главное — жизнь.

Здесь изображается будущий коммунистический строй, совершенно свободное общество, в котором нет не только насилия класса над классом и государства над личностью, но и нет никакой принудительной силы, так что человеческая личность совершенно свободна, но в то же время воля и желания каждого человека согласуются с интересами всего человеческого коллектива. Выдумка ли это? Нет. Вдумайтесь в то, что началось в Россия с 25 октября 1917 года, всмотритесь в то, что происходит во всем мире. Девять десятых человечества — трудящиеся — борются за идеал того строя, который изображен в этом романе, против кучки паразитов, противодействующей осуществлению абсолютной человеческой свободы. В умах и сердцах теперешнего пролетариата грядущий мир уже созрел.

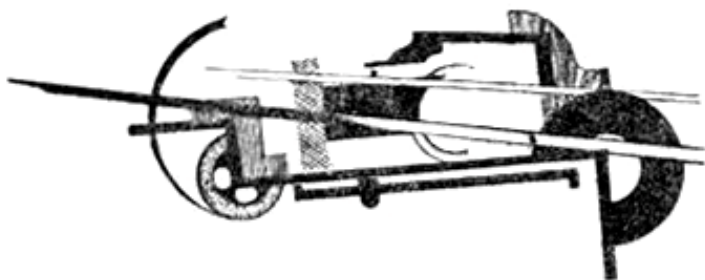
Все чудеса техники грядущего мира имеются уже в зародыше в современной технике. Радий, огромная движущая и световая энергия которого известна науке, заменит электрическую энергию, как электрическая энергия заменила силу пара и ветра. Работы ученых над продлением человеческой жизни, над выработкой искусственной живой материи, над вопросом омоложения, над гипнозом, над психологическими вопросами — достигли за последние десятилетия крупных успехов. Современная наука делает

чудеса и шагает семимильными шагами к победе над природой.

Все то, что изображено в этом романе, либо уже открыто и применяется на деле, либо на пути к открытию.

Поэтому, автор имеет даже основания опасаться, что он взял слишком большой срок для наступления царства грядущего мира и убежден, что через 200 лет действительность оставит далеко позади себя все то, что в романе покажется читателю выдумкой.

Як. Окунев



КАТАСТРОФА

Социально-историческая повесть

Часть первая

I

Без малого сажень пространства между носками лакированных ботинок и донышком цилиндра. Это пространство заполнено Вильямом Ундерлипом. В этом пространстве мы имеем: хорошо выутюженные брюки безукоризненного черного цвета, упругую выпуклость живота с расходящимися крыльями черной визитки, круглую, голую, как пятка, голову, посаженную без шеи на массивные плечи.

Позвольте, а глаза? Ах, да, глаза. Вот они. Они утонули в глубине между пухлыми щеками, напоминающими розовый зад новорожденного младенца, и нависшими огненными метелками бровей. Две голубые щелочки.

Впрочем, нет ни глаз, ни головы. Из-за газетной простыни «Нью-Йоркского Вестника» видна только половина мистера Ундерлипа — от лакированных ботинок до первой пуговицы жилета.

И слоится дым пахучей сигары над тем местом, где спрятана голова Вильяма Ундерлипа.

Что за идиотство! В стране небывалый урожай. Да, к прискорбию, это факт. К прискорбию для Вильяма Ундерлипа, хлебного короля. Хлебные акции падают, рента падает, все падает. И если в стране урожай, то... то надо, чтобы не было урожая. Да, да, ни гугу. Тс-с!

Газета летит на пол. Саженное тело Вильяма Ундерлипа принимает вертикальное положение и устремляется в переговорную будку.

Никелированный рычажок скользит по полированному сегменту с подковкой костяных кнопочек. Стоп! Под нажимом рычажка одна кнопка нырнула в глубину своего гнезда. Звонок. Белым матовым сиянием вспыхнул экран на стене. Медный тюльпан мегафона грохочет:

— Алло! Редакция «Нью-Йоркского Вестника».

— Алло! Вильям Ундерлип вызывает директора «Вестника» Редиарда Гордона.

На экране куриная нога в воротничке и галстуке.

Куриная нога сломалась под углом в 60 градусов.

— Редиард Гордон, директор «Нью-Йоркского Вестника», в распоряжении мистера. Мистер читал сегодняшнюю статью об урожае в Северо-Американских Штатах?

Гремит Вильям Ундерлип:

— Идиотская статья!

Куриная нога изображает собой прямой угол, потом острый угол, потом... Нет, она положительно сейчас сломается пополам.

Подняв палец в уровень со своим носом и рубя им в воздухе, Ундерлип, хлебный король, выбрасывает обрубки фраз:

— К черту оптимизм! Когда пресса делает веселое лицо, то.... Ну? Этот осел, автор этой статьи, слышал ли он, что происходит на бирже?

Этот осел сам Редиард Гордон. Он вытянулся на экране длинной тонкой спицей.

— Олл-райт! В вечернем выпуске будет контрстатья.

— А цифры, черт подери? Вы привели цифры. Что вы сделаете со статистикой?

Редиард Гордон, с позволения Ундерлипа, плюет на статистику. В вечернем выпуске будет контрстатистика.

Голос Ундерлипа теплеет:

— Итак, плачьте, Редиард Гордон. Плачьте в передовой статье, сокрушайтесь в биржевом отделе. Пролейте слезу в утреннем, и в дневном, и в вечернем выпуске. Ибо дивиденд, дивиденд — это ось.

— Это ось, хо-хо-хо! — громыкает в приемник Ундерлип.

Шкафик из черного дерева стоит в углу кабинета. На ярко-белом кругу циферблата, отсекая минуты, сходятся и расходятся стрелки.

Из шкафика четко отчеканил звонкий голос:

— Четырнадцать.

И вслед за этим прозвучало четырнадцать тонких, как звоны водяных капель, ударов.

Эдвард Блюм, директор, — сама точность. Ровно, минута в минуту. Маленькие сухонькие ручки ныряют в портфель. Мистеру Ундерлипу известно, что элеваторы забиты зерном, экспорта нет, потому что Россия...

Ах, бож-же мой! У мистера Ундерлипа больная печень, и когда говорят о России, то...

Ради бога, у Ундерлипа есть печень, чтоб она пропала!

Директор Эдвард Блюм уважает печень сэра:

— Будем говорить о маршрутах.

— Да, да, о маршрутах.

— Сегодня в двенадцать часов одиннадцать пароходов, груженных хлебом, идут на Лондон.

— Кто главный агент? Человек с мозгами?

Эдвард Блюм буравит крошечным остреньким пальчиком воздух над своею головой:

— О, мистер! Очень с мозгами!

— Посадить на мель! — шипит шепотом Ундерлип.

— Кого? Агента?

— Х-хо! Одиннадцать пароходов. Авария. Весь хлеб до последней тонны рыбам. Поняли?

— О, мистер. Очень... Цена! Дивиденд!

— Да-да, в гору. Ясно?

— Вполне.

У Эдварда Блюма делаются очень узенькие глазки, а губы принимают вид молодого месяца, опрокинутого рожками вверх. Он снова роется в своем портфеле, собираясь приступить к деловому докладу, но Ундерлип делает неожиданную экскурсию в область библии:

— Вы знаете историю Иова, мистер? Удивительное стечение счастливых обстоятельств.

— Напротив, мистер.

— Не напротив, — упрямо мотает головою Ундерлип. — Совсем нет. Его беда была в том, что его капитал не находился в акциях. Хлебные акции лезут в гору от неурожая, от аварии хлебных транспортов. Такую же привычку имеет рента. Поняли, мистер?

— Очень.

— Нет, вы не поняли! — резко произносит Ундерлип и, наклонившись к Эдварду Блюму и дыша ему в лицо запахом сигары, шепчет: — Несчастье за несчастьем. Пожар на самом большом элеваторе в Филадельфии. До последнего зерна.

— Но прокуратура, мистер?

— Элеватор наш. И прокуратура тоже... тоже наша. — Ундерлип делает жест, означающий, что прокуратура наша: он сжимает в кулаке воздух, символизирующий прокуратуру, и грохочет:

— Хо-хо, х-хо-хо!

— Хе-хе-хе, — трещит сухоньким смешком Эдвард Блюм.

— Будет сделано, мистер Ундерлип.

Шипя шинами по асфальту, несется желтый автомобиль. Кожаные подушки удобно пружинятся под сиденьем и за спиной Ундерлипа.

Лампочка струит сверху опаловые ручьи света.

Тротуары запружены котелками, шляпами, кепи. Котелки, кепи и шляпы живыми гроздьями унижают вагоны трамвая и воздушной железной дороги. Они низвергаются говорливым водопадом в люки тоннеля метрополитена. Рестораны, кафе, бары, кино, кабаре глотают реки шляп, кепи, котелков.

Статистика показывает... Позвольте, при чем статистика? Ах, да! Это по поводу населения Нью-Йорка. Оно выросло на сто процентов. Котелков, кепи, шляп стало вдвое больше. Каждая кепка ест хлеб. Каждая! И все они вместе едят хлеб. Вдвое больше.

Что такое человек? Г-м! Живая двуногая рента. Как котируется на бирже человек?

Ундерлип улыбается. Трясутся пухлые щеки, дрожит щечка, выбегающая огненной струйкой из жилетного кармана, зыблется упругое полушарие живота...

И вдруг... Именно вдруг. Автомобиль неожиданно застопорил. Захрюкал рожок. Еще раз. Ни с места.

В чем дело? Ундерлип откидывает форточку в передней стенке автомобиля.

— Что случилось, Бенни?

Но от Бенни нет ответа. Шевелит губами, а звук не долетает. Потому что шляпы, котелки и кепи сбились сплошной массой. Рты в движении. Звенит воздух. Факелы. Огненные копыа огней. Знамена. Ревет контрабас и бухает барабан.

Когда над головами не красные лоскутья, а полосатые американские флаги, то дубинки полисменов не имеют работы. Оркестр играет «Янки-Дудль», котелки и кепи поют «Янки-Дудль». Ку-Клукс-Клан. Полезные ребята.

Ундерлип выходит из автомобиля. Становится рядом с молодым в полосатой фуфайке и кепке с надорванным козырьком. Сам Ундерлип — хлебный король, вылетает свой благородный голос в хор и с чувством поет «Янки-Дудль».

Верзила в полосатой фуфайке хлопает по плечу Ундерлипа и подмигивает подбитым левым глазом. Ну, это немножко слишком. Ундерлип отодвигается в сторону и становится на подножку своего автомобиля.

Ионафан Кингстон-Литтль. Вождь американских патриотов. С позволения мистера, он воспользуется автомобилем, как трибуной. Ундерлип позволяет.

Ионафан Кингстон-Литтль — пухленький катышек, но голос у него иерихонская труба. Тише! Тише! Слово Кингстону-Литтлю.

— Плевать на демократов! К черту социалистов!

Америка для чистокровных американцев. Негры, евреи, китайцы, немцы все зеленые трепещите! В Америке будет сильная национальная власть. Работу и права только американцам. Остальные пусть убираются ко всем чертям!

Кепки и котелки летят в воздух. Подброшенный сотнями рук Ионафан Кингстон-Литтль летит в воздух. Гремит «Янки-Дудль». Ревет труба. Бухает барабан.

Полезные ребята. Ундерлип лезет в автомобиль, удобно усаживается на упругом сиденье и напевает про себя;

— Три-ди-дим-ди!

Рожок хрюкает три раза, и автомобиль трогается в путь.

II

Поднимаясь в лифте на десятый этаж, Ундерлип пребывает в неизменно отличном расположении духа и, продолжая напевать свое «три-ди-дим», снисходит до маленького панибратства с мальчиком в красной курточке, в галунах и золотых пуговках, поднимающим лифт. Он захватывает двумя пальцами, большим и указательным, розовую щеку мальчика и щиплет ее:

— Три-ди-ри... Имя?

— Тедди, мистер.

— Возраст?.. Ди-ри-дим.

— Четырнадцать, мистер.

— Ди-ри-ди-ди... Патриот или красный? Хо-хо!

— О, мистер! Мой дядя...

— Что твой дядя, бой?

— В организации Кингстон-Литтля.

— Дри-ди-ри-дим... Получай, бой.

Маленькая желтая монетка перекачивается из пухлой ладони Ундерлипа в сложенную лодочкой ладонь юного патриота, у которого на щеке цветет розочка от снисходительного щипка хлебного короля.

А хлебный король, выйдя из лифта, направляется через приемную акционерной компании «Гудбай» в директорский кабинет. В приемной посетители. Кивок головы направо, кивок налево, два-три рукопожатия. По очереди, мистеры и миссис, по очереди, дри-ди-ри-дим... Ах! Его

преосвященство. Какая честь! Конечно, вне всякой очереди. Пожалуйста.

У его преосвященства накрахмаленное лицо. Оно мертво, деревянно, и когда его преосвященство говорит или смеется, то размыкается только узенький бледно-розовый шнурочек губ и золотится ряд великолепно сделанных зубов.

Преосвященство садится в кресло, сохраняя свою крахмальность. Ундерлип хочет сказать свое «дри-дирим», но спохватывается и маскирует вырвавшееся было легкомыслие кашлем.

Замороженным голосом его преосвященство произносит:

— Я получил пакет акций компании «Гудбай». Примите, мистер, глубокую благодарность церкви.

Таким же ледяным голосом Ундерлип отвечает:

— Правление нашей компании находит, что церкви не подобает существовать мелкими случайными даяниями. Наше правление делает почин. Церкви подобает быть акционером и распоряжаться дивидендами.

Бледно-розовый шнурочек размыкается.

— Да, дивидендами.

— На акции вашего преосвященства получается дивиденда триста тысяч долларов.

— С божьей помощью, триста тысяч долларов.

— Скоро будут выборы.

— Выборы, — доносится эхо из-за золотых зубов его преосвященства.

— Палаты должны быть послушны верховной власти.

— Должны.

— А власть должна слушаться голоса патриотов.

— Да, патриотов.

— Итак, церковь разделяет наши взгляды.

— Церковь разделяет... благословляет.

Его преосвященство делает благословляющий жест, торжественно прощается и торжественно уносит свое накрахмаленное тело из кабинета хлебного короля.

Лицо Ундерлипа тотчас же размораживается, и он, приоткрыв дверь, звенит:

— Ди-ди-дим... Кто следующий?

В промежутке времени, пока входит следующий, Ундерлип хлопает себя по тому месту визитки, где находится боковой карман с бумажником, смеется:

— Ха-ха-ха! Церковь. С божьей помощью.

Следующий — Редиард Гордон, директор «Нью-Йоркского Вестника». Весь в устремлении вперед. Куда угодно и что угодно.

— Я доволен вами, мистер... Дри-ди...

Верхняя половина туловища Редиарда Гордона устремляется к Ундерлипу, тогда как нижняя, утвержденная на желтых массивных ботинках, остается на месте:

— Мистер, наша газета...

— Моя газета, — поправляет Ундерлип.

— Ваша газета, мистер, завтра открывает кампанию за высокие пошлины на иностранный хлеб.

— Отлично, мистер. Высокие пошлины — дорогие цены, дорогие цены — большие дивиденды, большие дивиденды... Ди-ри-ди-дим...

— Хи-хи-хи!

Ундерлип отпирает правый ящик письменного стола.

В правом ящике — белые пакеты, и в каждом пакете цветные бумаги с водяными знаками и затейливыми подписями членов правления акционерной компании «Гудбай». Акции. Один такой пакет он протягивает Редиарду Гордону.

— Завтра общее собрание акционеров. Есть оппозиция. Здесь сто акций, мистер. У вас будет сто голосов, мистер. Сто голосов против оппозиции.

Редиард Гордон прижимает пакет к сердцу.

— Есть, сэр. Позвольте выразить...

— До свиданья. Ди-ди-ди!

Следующие и еще следующие. Ундерлип опустошает свой ящик с пакетами и умножает число голосов против врагов своего правления. Ну-ка, прикинем, дри-ди-ди! Его преосвященство стоит пять тысяч акций.

Когда из собрания акционеров его преосвященство подаст голос, то это будет не один голос, а пять тысяч голо-

сов, черт возьми! А эта куриная нога? Сто голосов. Закон? Ундерлип раздает голоса из ящика своего стола с глазу на глаз и плюет на закон. У правления остается законное число акций. Комар носа не подточит. Ди-риди-дим.

А на улицах, а на бульварах, а в скверах манифестируют чистокровные американцы, патриоты с оркестрами и полосатыми флагами. Они горланят, не переставая, «Янки-Дудль», и вместе с ними, выхаркивая остатки своих легких, орет, задыхаясь, чахоточный Сэм. Удушливые газы съели его легкие на войне, в груди Сэма сидит немецкая пуля. Сэм не обедал сегодня, не обедал вчера, не обедал... Давно не обедал.

У Сэма кипит желчь. Баста! Надо выгнать из Америки всех зеленых немцев, поляков, евреев. Тогда будет работа, и Сэм будет обедать каждый день. Еще надо свернуть головы всем этим жирным акулам, которые живут в мраморных дворцах и устраивают локауты.

— Америка американцам! — хрипит Сэм.

— У-ра! — подхватывают вокруг него.

— Долой миллиардеров! — выбрасывает Сэм из своей голодной души.

Что он кричит? В него вонзается пара десятков глаз, таких же голодных и таких же злых, как его глаза. Чья-то рука впивается в его плечо и трясет его:

— Что ты крикнул? Ты социалист?

Сэм возмущен:

— Я социалист?! К черту красных, розовых, желтых! Я не получу от них жратвы.

— Кто же ты такой?

— Истый американец. Америка для американцев.

— Но ты горланил: «долой миллиардеров».

— Ну да, долой этих пиявок. Ведь я безработный. Два года без работы.

— И я.

— И мы.

— Компания «Гудбай» вышибла меня из фермы, — говорит серый мужиковатый парень с бычачьими глазами и орет громовым голосом:

— К дьяволу миллиардеров.

— Правильно! Правильно! — подхватывают несколько голосов.

Сзади напирают новые и новые кепки и котелки, и Сэма и мужиковатого парня уносит толпою вперед, в желтый тусклый туман.

На экране, в витрине редакции, горят огненные буквы, они кричат на всю улицу:

Америка для американцев!

**высокие пошлины на
иностраннный хлеб**

мы не дадим наживаться иностранцам

мы не дадим вывозить наше золото

новость!!! новость!!!

читайте вечерний выпуск!

пожар в Филадельфии

авария в океане

тысячи тонн хлеба д†™ ..., ’ – • –

вечерний выпуск стоит

пять центов

Толпа несет Сэма. У витрины «Вестника» — затор.

У Сэма вскипает желчь.

— Ха-ха! Золото? Пусть вывозят мое золото!

— Bravo, парень, bravo! — трещат кругом ладони. — Пусть вывозят наше золото. Начхать!

Но у Сэма есть еще кой-что. Вместе с кровавым плевком он выбрасывает:

— Х-хе! Америка для американцев, а какие американцы будут покупать дорогой хлеб?

— Откуда ты взял это, парень? — раздаются недоуменные возгласы.

И Сэм, сам того не подозревая, повторяет доводы Ундерлипа:

— Высокие пошлины — высокие цены. Ко всем чертям высокие пошлины!

— Долой!

— Бей!

Вложив два пальца в рот, какая-то кепка оглушительно свистит: Фю-юить! Долой! Бей! Долой!

Камень летит в витрину «Вестника», звенит стекло. Экран гаснет. На ступенях редакции, в озарении дугowego фонаря, коротенькая, круглая фигурка Кингстон-Литтля. Тише! Тс-с!

Литтль обращается к дорогим братьям. Дорогие братья попались в чью-то ловушку. Конечно, это агенты Москвы подбили дорогих братьев на такую штуку, ибо братья ни уха, ни рыла не понимают в политике. Если бить окна, то надо выбирать окна редакции врагов национального движения.

Сэму нужно спросить Литтля кое-что о высоких пошлинах на хлеб. Но Сэм не решается, потому что он ни уха, ни рыла...

— Правильно! — хрипит Сэм.

— Правильно! — грохочут сотни Сэмов, ни уха, ни рыла не понимающих в политике, но голодных и злых из-за безработицы.

III

Для того, чтобы устроить совет четырех золотых мешков, совсем не требуется собирать их в одном месте. Каждый сидит у себя в кабинете: короли хлеба и металла в Нью-Йорке, король угля и нефти — в Чикаго, король... нет, правильнее сказать, королева... Итак, королева транспортных средств — в Вашингтоне. Они сидят в своих уютных креслах, в разных концах республики и, несмотря на это, ведут оживленную беседу.

Делается это очень просто. Каждое золотое величество поворачивает рычажок фоторадиофона до надлежащей кнопки на доске коммутатора и бросает в приемник:

— Алло!

— Алло! — скрипит ржавый голос короля угля и нефти из Чикаго, мистера Бранда.

— Алло! — звенит королева транспорта, миссис Мариам Дэвис.

— Алло! — гремит металлом хлебный король.

— Алло, алло! — вкрадчиво мурлыкает мистер Лориссон, король всей тяжелой индустрии Соединенных Штатов.

И на экране фоторадиофона каждый король видит всех остальных трех королей. Просто и ясно.

Парламент говорит и голосует. Сенат говорит и тоже голосует. Президент не говорит и не голосует, а подписывает то, что наговорили и наголосовали джентльмены из парламента и сената. А четыре магната Северо-Американских Соединенных Штатов не говорят, не голосуют, не подписывают, а заставляют голосовать, говорить и подписывать то, что им нужно, джентльменов из парламента и сената и джентльменов из Белого дома.

А что им нужно? По улицам Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Филадельфии гремит, не переставая, «Янки-Дудль». Патриоты сворачивают скулы красным и бьют окна их редакций — вот что им нужно. Когда безработный Сэм, выхаркивая остатки своих легких, горланит: «Америка для американцев», он делает, не зная этого, именно то, что нуж-

но трем джентльменам и одной леди, совещающимся по фоторадиофону.

Положение не делает разницы. Джентльмены и леди обедали. Сэм давно не обедал. Но это ведь мелочь, не правда ли? Обедавшие джентльмены и голодный Сэм заняты по горло общим делом.

— Алло! Мы начинаем! — гремит в приемнике хлебный король.

— Олл-райт, — кивает остроконечной головою с голубыми, оттопыренными, как ручки вазы, ушами мистер Бранд, угольный король.

— П-ф-ф! П-ф-ф! — дымит в ответ из трубки коротенький, пушистенький, мягонький, точно холеный белый котенок, металлический король, мистер Лориссон.

Королева транспорта, миссис Дэвис, держит в руках крошечную обезьянку, глядит на нее глазами цвета ртути и говорит, обращаясь не к джентльменам, а к обезьянке:

— Мы начинаем, моя крошка.

И делает «чмок-чмок», целуя свою крошку прямо в губы...

— Треть акций газетного треста у меня вот здесь, — хлопает по своему карману Ундерлип.

— П-ф-ф! Большой дивиденд?

— Да, да, какой дивиденд? — настораживает свои голубые уши мистер Бранд и делает пальцами такое движение, точно считает деньги.

— Х-хе! — пожимает плечами Ундерлип. — Пресса куплена не для дивиденда, а для... Нам нужно делать общественное мнение.

— Чмок, чмок, — целует Мариам Дэвис обезьянку. — Слышишь, моя крошка, нам нужно мнение.

Крошка выражает свой восторг в очень странной форме: горбит спину, подымает хвост и... Мариам Дэвис вынуждена извиниться перед джентльменами: у ее крошки испорчен желудок. В этом виноват повар, специально готовящий для крошки. Он немедленно будет уволен.

Джентльмены учтиво выслушивают Мариам Дэвис, соболезнуют испорченному желудку крошки и испорченному

платью леди, одобряют ее решение прогнать повара и продолжают совещание.

— Итак, дивиденда не будет, но будет общественное мнение, — продолжает король хлеба. — За нас будет говорить печать. Наши взгляды будет проводить его преосвященство.

Мистер Бранд прикладывает к своему голубому уху ладонь, сложенную ложкой:

— Его пре-о-свя-щен-ство?

— П-ф-ф! П-ф-ф! — невозмутимо дымит король металла. — Сколько стоит его преосвященство?

— Пять тысяч акций, джентльмены, — с весом произносит король хлеба.

— Это недорого, пф-ф-пф!

— Это совсем гроши, моя крошка.

— Религия — фундамент культуры! — кивает острой головой и синими ушами металлический король.

— Мы решили, что нам необходима война, — продолжает король хлеба. — Война с Англией.

Джентльмены и леди расцветают. В четырех некоронованных головах королев проносится целый вихрь соображений. Вот они, эти соображения:

«Пфф! Пфф! Что такое война? Это монбланы чугуна, стали, железа. Горы металла. Дивиденд. Дивиденд!»

«Это миллионы людей, одетых в хаки, миллионы челюстей жуют хлеб. Сотни тысяч тонн хлеба. Акции лезут в гору».

«Это дредноуты, крейсера, субмарины, аэропланы жрут нефть и уголь. Золото! Золото!»

«Моя крошка, чмок, чмок. Наш транспорт, моя крошка, нуждается в просторе. Мы победим. Ах, опять желудочек. Бож-же мой!»

Но фоторадиофон не передает мысленных соображений. Впрочем, разве у джентльменов и леди только узкоэгоистические цели? О, нет! Они патриоты. Америка для американцев! Что касается Англии, то почему бы и Англии не быть для американцев? Да, да. Сверхмиллиардеры проникнуты сверхпатриотизмом, и Ундерлип, хитро прищу-

рив левый глаз, долго и убедительно говорит о национальных задачах Америки в английских колониях, которые по недоразумению и несправедливости судьбы принадлежат Англии, тогда как... Словом, Америка превыше всего...

Джентльмены дружно аплодируют. Леди лишена возможности аплодировать, потому что отлучилась на минутку с позволения джентльменов, чтобы поставить клизму бедной крошке и намылить голову ее повару.

Чахоточный Сэм совсем не знает того, что он выражает общественное мнение своей кашляющей и харкающей фигурой. Бой в светлых пуговицах поднимает ее на лифте, лифт останавливается против дверей квартиры Кингстон-Литтля, и Кингстон-Литтль, сам Кингстон-Литтль раскрывает двери Сэму:

— Пожалуйста, мистер Сэм.

Мистер Сэм? Черт возьми! Вот что значит тонкое воспитание. Мистер Сэм! Плохо воспитанные люди не знают такого обращения. Они прибавляют обыкновенно к имени Сэма лестные клички: «голоштанник», «прощелыга», «ходячая падаль», но «мистер» — никогда.

Сэм исполняется уважением к своей особе и выпрямляет сутулую спину.

Кингстон-Литтль ведет Сэма через освещенные океаном электричества комнаты, по мягким коврам. В комнатах расставлено много штучек из фарфора, мрамора, гипса, бронзы, и Сэм, прижимая локти к туловищу и вертя головой вправо и влево, старается не задеть чего-нибудь и не надеяться беды.

В большой комнате накрыт белой скатертью круглый стол. Бутылки с красным, и бутылки с белым, и бутылки с желтым, как янтарь, вином. На столе один-единственный прибор. И у этого единственного прибора Кингстон-Литтль усаживает Сэма.

— Надеюсь, уважаемый мистер Сэм не откажется пообедать.

О, он не откажется! Уже два дня, как у него в желудке играет оркестр. Скверно играет, с позволения мистера Литтля.

Сам Кингстон-Литтль — сам! — наливает виски в стакан Сэма, потом наливает еще что-то густое, как прованское масло, потом еще что-то жгучее, как огонь. Какой-то мистер во фраке и в белых перчатках вносит ростбиф, горячий, красный, сочный. Сэм молниеносно очищает тарелки, осушает стаканы. Музыка в желудке Сэма перестает играть похоронный марш. Сэм уважает себя, уважает Кингстон-Литтля, уважает мистера в белых перчатках.

— Слушайте, Сэм, между нами говоря, вы — хороший малый, — хлопает его по плечу Кингстон-Литтль.

— Правильно сказали, мистер.

— Я решил вывести вас в люди, Сэм.

В люди? С разрешения мистера, Сэм был молотобойцем на заводе. Сэм знал лучшие времена. Он получал двадцать долларов в неделю, черт возьми! Он хи-хихи! — волочился за женщинами. Да! Было времечко.

— Прежде всего, вы должны экипироваться, Сэм. Вот вам пятьдесят долларов.

Экип... Экип... Как? Сэм полагает, что такое непонятное слово касается выпивки. Нет, баста. Если он немного еще сегодня поэпи...пикируется, то, пожалуй, попадет в участок.

— Вы не поняли меня. Вы должны приодеться.

— Благодарю, мистер. Но я на эти деньги буду лучше обедать. Я целый месяц буду обедать, мистер.

— Зачем? Вот вам еще сто долларов. На обеды, Сэм.

Сто долларов? Сэм щиплет себя в ляжку. Нет, это не сон, а настоящая новенькая бумажка в сто долларов.

— О, мистер. Если вам угодно, я обязательно эпи... эпи... тьфу!

— Теперь вот что, мистер Сэм. Так как вы патриот...

— О, мой мистер!

— И преданный человек...

— Готов душу...

— Нет, Сэм, душа останется при вас. Вы знаете, где находится клуб «Пятиконечная Звезда»?

— На Бродвей-стрите, мистер.

— Верно. Вы сообразительный малый. Вы понимаете толк в планах? Вот смотрите.

Кингстон-Литтль чертит карандашом прямо на белой скатерти. Вот Бродвей-стрит. Вот «Пятиконечная Звезда». Вот из переулка калитка во двор. А вот черная лестница.

— Есть! Понял! Мистер желает, чтобы я изучил ходы и выходы в клубе красных?

— Ничего подобного. Мистеру нужно, чтобы уважаемый мистер Сэм взобрался пятнадцатого числа утром по черной лестнице на чердак над клубом.

— На чердак? Почему не в самый клуб?

— В клуб не надо. Непременно на чердак.

— К вашим услугам, мистер.

— Около полудня в клубе будет заседание комитета красных. И ровно в это время по Бродвей-стриту мимо клуба будет шествовать манифестация патриотов.

— И я должен с чердака кричать: «Америка для американцев»? Ха-ха! Ловко придумано.

— Да нет же. Достопочтеннейший мистер Сэм должен бросить из чердачного люка в манифестантов вот эту коробочку, которую никому показывать нельзя. И если дорогой мистер Сэм выполнит поручение, то получит еще сто долларов и выйдет в люди.

— Только всего? Дайте мне скорее вашу коробочку, мистер.

— Осторожнее. Не оброните. Сохраняйте ее от сырости.

— Будьте покойны. Я умею обращаться с деликатными вещами. Ведь у меня были лучшие времена, мистер Кингстон-Литтль.

— И никому... Ни звука, мистер Сэм.

— Т-сс! Ни звука!

Сэм прикладывает палец к губам и удаляется, немного пошатываясь, но чувствуя, что он помаленьку выходит в люди.

IV

Земной шар это... Это всего-навсего земной шар. Всего пять частей света. Почему пять, а не шесть, а не семь, не тридцать семь? Чем больше, тем лучше. Мистер Лориссон хочет продавать уголь и нефть. Мистер Ундерлип хочет кормить весь земной шар своим хлебом. Только своим. Но Англия, но Франция, но Германия? Земной шар — хе-хе! — только и всего один земной шар. Да и то на нем есть необитаемые полюсы, где живут белые медведи, которые не покупают ни угля, ни нефти, ни хлеба... Словом, да здравствует война!

Демократы, республиканцы и патриоты, Лориссон, Бранд и Ундерлип прекращают маленькую войну между собою, чтобы сделать большую войну сообща.

Вы знаете, как делается большая война? Пушками? Дредноутами? Подводными лодками? Нет, нет, не забегайте вперед. Всякому овощу свое время.

В огромном зале нью-йоркской биржи, у огромной черной доски садится маклер, у которого голова, похожая на луковицу хвостом кверху, фарширована курсами банкнот, векселей, акций. Он выводит на доске остренькими, вытянувшимися, как солдаты на фронте, буквами:

«В предложении акции “Гудбай”, Лориссона, Бранда. Спроса нет».

Никто не бежит. Никто не прячется. И все же это называется паникой. Трещат телефоны, выстукивают телеграфные аппараты. Летят радио:

— Крах, крах, крах!

В парламенте паника. Никто не бежит. Никто не прячется. Напротив, все без исключения депутаты в сборе. Ложа журналистов полна. В ложе дипломатов пусто. Но это называется паникой.

У президента палаты дрожат руки. Проталкиваясь в тесной толпе депутатов, он бросает лидеру правой, и лидеру центра, и лидеру левой:

— Бумаги не стоят ни цента! Мои бумаги!

— И мои! — заявляет лидер правой.

— И наши! — произносят лидеры центра и левой.

И центр, и правая, и левая дружно произносят речи о великих национальных задачах народа, дружно бьются в истерику на трибуне в защиту национальной чести и дружно голосуют военные кредиты. Мистер из Белого дома, господин президент, не голосует, а, подписывая войну, думает о дивидендах. Только несколько чудаков на крайних левых скамьях парламента ни за что не желают войны. Они кричат что-то о Сэме и о цене его крови. Экие чудаки! Разве кровь котируется на бирже?

А безработный Сэм, о крови которого вопят левые чудаки в парламенте, сидит на чердаке клуба красных «Пятиконечная Звезда», харкает кровью и крепко держит в обеих руках металлическую коробочку. Это обыкновенная коробочка из-под килек, но к верхней крышке припаяна стеклянная трубочка с двумя пересекающимися тонкими проволочками внутри.

Та самая кровь, о которой кричат левые чудаки в парламенте, закипает в сердце Сэма. Он видит из люка мистера Райта, знаменитого Джека Райта, коммуниста, о котором Кингстон-Литтль говорит на митингах, что он куплен Москвой. Джек Райт худ и тонок, как вязальная спица. У него земляной цвет лица и острые, как иголки, черные глаза. На лбу у него два шрама: один вдоль, как раз посередине лба, другой — поперек, от виска до виска. Говорят, что Джека Райта пытали сыщики. Так ему и следует: зачем он продался Москве?

Райт идет по улице, помахивая тросточкой и не подозревая, что над его головой, на чердаке, сидит Сэм, его враг. Райт насвистывает какую-то песенку, его тросточка вертится мельницей, он поднимается на ступеньки и входит в клуб «Пятиконечная Звезда».

— Р-р-р! Р-р-р! — рычит Сэм.

Этих молодчиков там, внизу, набралось человек тридцать. Они готовятся к выборам, и большая часть из них выставлена в списке красных. Как же! Держи карман!

Сэм плюет на красный список и подаст свой голос за патриотов, Америка для американцев — и ни гвоздя!

— Америка для американцев! — гремит в конце улицы.

— Ур-ра!

Слышна гулкая молотья барабана и яркие всплески трубы. Черная голова толпы выползает на улицу. Полощутся по ветру полосатые знамена.

Неожиданно в голове Сэма шевелится мысль: для чего нужно бросить эту коробку вниз, на патриотов? Что находится в этой жестянке?

Ни уха, ни рыла. Так сказал Кингстон-Литтль. Ни уха, ни рыла не понимает Сэм в этой штуке, которая называется политикой. Кингстон-Литтль сказал, что надо бросить, значит, так надо. Политика! И кроме того, сто долларов — это вам не жук накашлял.

Р-раз! Сэм бросает жестянку в самую середину манифестации. Огненный веер. По улице точно прокатили десяток грузовиков. Что-то летит кверху, во все стороны. Пыль штукатурки падает на голову и плечи Сэма и белит его с головы до ног. Струя теплого воздуха мягко толкает Сэма в лицо, плечи и грудь и опрокидывает его навзничь. В ушах звон.

Топот чьих-то ног, обутых в тяжелые сапоги, по черной лестнице. Дощатая дверь чердака сорвана с петель. Четыре человека поднимают Сэма и несут его:

— Т-с-с! Ни звука!

— О, мистеры. Мне ничего не будет?

— Заткнись! Ни звука!

— Ни звука, дорогие мистеры.

Сэма несут через черный двор в переулочек, где нет ни живой души, укладывают в закрытый автомобиль; четыре молодца усаживаются по сторонам Сэма; фыркает мотор; автомобиль срывается с места и несет Сэма неизвестно куда.

— Мне ничего не будет, добрые мистеры?

— Т-с-с! Не ори!

— Молчу. Молчу.

— То-то.

А толпа патриотов бушует у клуба «Пятиконечная Звезда». Она бьет окна и грохочет:

- Бей агентов Москвы!
- Сорвать им головы!
- Линчевать! Линчевать!

Отряд полисменов, примчавшийся на грузовике, работает дубинками, сдерживая напор взбесившихся патриотов. В кольцо полисменов с револьверами на взводе из клуба «Пятиконечная Звезда» выводят тридцать человек. Длинный Джек Райт бел, как бумага, и на лбу его ярко выступают два шрама — один вдоль, другой поперек, точно алый крест.

- К суду Линча московского наемника!
- Бей!

Чей-то костыль летит в Джека Райта и ударяет его в грудь. Джек Райт шатается, белеет еще больше и, покрывая своим металлическим голосом рев, вой, свист патриотов, кричит:

- Это провокация! Коммунисты не действуют бомбами!
- Знаем мы эти увертки! Бей! — воет толпа.
- Бобби! Спрячьте ваши револьверы!
- Отдайте их нам. Мы их проучим.

Но бобби ведут красных к автомобилю. Весь список красных отправляется в тюрьму.

V

- Доложите мистеру, что я здесь.

— Мистер Ундерлип принимает ванну и просит вас пройти в ванную.

В ванную — так в ванную. В конце концов самолюбие — пустой предрассудок, который стоит очень дорого и доступен в полной мере только людям с толстыми бумажниками.

Редиард Гордон делает вид, что обычное место для деловых разговоров ванная, и с независимым и беспечным выражением на лице входит в ванную хлебного короля.

Странная штука — эта ванна мистера Ундерлипа. Она не мраморная, не фаянсовая, не цинковая, как все прочие ванны, а из какого-то серого, желтого камня, на котором высечены полуистертые барельефы в египетском стиле. Не ванна, а настоящий египетский саркофаг.

Розовая гора тела плещется и фыркает в этом саркофаге. И когда Редиард Гордон входит, к нему поворачиваются розовые жирные плечи и круглая голова, из-под огненных кустиков бровей на него весело глядят две голубые искорки.

— Ага, мистер Редиард Гордон! Ф-р-р! Очень хорошо. Садитесь вон в то кресло.

Редиард Гордон садится. Ундерлип отфыркивается, подгибает свои волосатые ноги, чтобы усесться поудобнее, и опять глядит на Редиарда Гордона.

— Что? Эта ванна? Она походит на саркофаг? Х-хо!

Да это саркофаг и есть. Саркофаг Аменофиса Третьего. Ловко, не правда ли? В этой гробнице, в которой покоился прах царственного фараона, купается хлебный король Ундерлип, дед которого... Ах, мистеру это неизвестно? Дед Ундерлипа был пастухом. Да, да, простым пастухом. А его внук, Ундерлип, моет свой зад в гробнице фараона. Хорошо придумано? Это стоит больших денег, но зато сознание своего достоинства, мистер! До-стоин-ства!

Ундерлип поднимает вверх свой пухлый указательный палец и несколько раз с чувством повторяет:

— До-сто-ин-ства!

Затем он вылезает из ванны, заворачивается с головою в мохнатую простыню и садится против Редиарда Гордона.

— Вот что, милейший мой, — говорит он, хитро щуря глаза. — Будем говорить начистоту. Я вас ценю потому, что вы умеете оболванивать массы.

— Оболванивать?

— Ну, это, может быть, немножко резко, — уступает хлебный король. — Скажем: околпачивать. Или еще вежливее: обставлять. А? Что?

Редиард Гордон видит, что у хлебного короля игривое настроение, и в тон ему подтверждает:

— Да, да, я умею, мистер.

— Ведь девяносто девять процентов людей — это круглые идиоты. Что?

Редиард Гордон решает трудную задачу: считает ли хлебный король, что он, Гордон, входит в число девяносто девяти или в число избранного одного процента.

— М-м! — мычит Редиард Гордон.

— Умным людям нужны деньги, а идиотам нужна идея. И-д-е-я! Подавайте им идею, иначе они взбунтуются. А?

— Д-да, идея, — робко произносит Редиард Гордон, не зная, куда клонит Ундерлип.

— Вам известно, что война решена?

— То есть, пока еще неофициально, мистер.

— Что значит «неофициально»? Я, Лориссон, Бранд, Дэвис, четыре треста решили. Ну? Америка в союзе с Францией против Англии и Японии. Ясно, как на шахматной доске. Что?

— Я весь внимание, мистер.

— В наших руках вся американская пресса. Я, Лориссон, Бранд и Дэвис скупили половину акций газетного треста «Полиграф».

— Отлично, мистер.

— Нам нужен человек, который умеет выдумывать порох. Этот человек вы, Редиард Гордон.

— Я? Позвольте вам выразить...

— Ничего не надо выражать, — жестом освобожденной из простыни голой руки останавливает его хлебный король.

— Вы будете главным директором всех наших изданий. Что?

Пока ошеломленный Редиард Гордон находится в счастливом трансе, Ундерлип скидывает с себя простыню и влезает в кальсоны.

— Позвольте все-таки выразить... — пробуждается из забытья Редиард Гордон.

— Нет, повторяю: не надо выражать, — похлопывая по своему животу, говорит хлебный король. — Выдумайте порох!

— То есть?

— Нам нужна идея. Понимаете? И-де-я! Ха-ха! Идея для остолопов, для баранов, крепкая, как нашатырь. Идея, которая была бы в нос и исторгала бы слезы. Слезы умиления. Слезы патриотизма. Словом, нам нужно, чтобы все поголовно захотели воевать. Что вы скажете? Выдумайте, мистер, хороший порох, и вы тоже будете купаться в гробнице какого-нибудь фараона.

Редиард Гордон складывает обе руки, ладонь к ладони, и поднимает их вверх:

— Господи, боже мой! Разве не я выдумал Кингстон-Литтля? Разве не я выдумал «Америка для американцев»? Разве не я...

— Вы, вы, вы! Но нам нужно еще крепче. Ведь это война, вторая война. Понимаете?

— Есть, мистер.

— Ну?

— Выпустите на миллионы долларов акций всех четырех трестов в мелких купюрах. На три-четыре миллиона. Самая широкая рассрочка. Верная гарантия дивиденда. Военная сверхприбыль дает сверхдивиденд.

— Ага! Ага!

— Каждый рабочий получает акцию. Каждый рабочий хочет войны. Жаждет победы Америки, потому что он акционер и патриот. Америка для американцев, все дивиденды всего земного шара для американцев.

— Вы выдумали настоящий порох, Редиард Гордон. Позвольте выразить вам...

Тут приходит очередь и за Редиардом Гордоном. Он повторяет жест хлебного короля.

— Не надо выражать, мистер. Я выражу все это в прессе.

— Выражайте.

Ундерлип ныряет головой в свою сорочку и оттуда еще раз бормочет:

— Выражайте, мистер Гордон.

Автомобиль с Сэмом останавливается за городом, на пустыре, Сэма ведут к одинокой ферме, находящейся в полуверсте от дороги, среди забранных колючей проволокой полей. Молодцы вталкивают Сэма в ферму, а сами остаются за дверью.

В комнате только один человек — Кингстон-Литтль.

Он сидит на табурете, за большим некрашеным столом, опершись о стол локтями и опустив голову на руки, и глядит прямо на Сэма.

— Сэр, мне ничего не будет?

— Болван!

Вот тебе и тонкое обращение! Собственно, почему он прежде был мистером Сэмом, а теперь стал болваном? Разве он не сделал все, что нужно?

— Потому что вы скисли, мистер Сэм.

— Мистер, я не знал, что это бомба. Если бы я знал, что это бомба. Если бы знал, побей меня бог...

— За то, что вы идиот, вас бог и побьет, уважаемый мистер Сэм. Видали ли вы когда-нибудь настоящие бомбы?

— На войне я видел, мистер, ручные гранаты. Это не то, что та жестянка, которую вы мне дали.

— То-то! Это и не была бомба, мистер Сэм.

— Но она взорвалась, когда я ее бросил.

— Это была хлопушка. Поняли? Хлопушка!

— И она никого не убила?

— Никого.

— Но взрыв, мистер? У меня до сих пор звенит в ушах.

— Потому что вы трус, уважаемый мистер. Все вам показалось со страху.

— Для чего же надо было бросить эту штучку?

— Вы патриот, мистер Сэм, но в политике ни уха, ни рыла не понимаете.

— Ни рыла, мистер.

— Ну, и не суйте нос не в свое дело. Молчите. А если вы кому-нибудь скажете хотя бы одно слово, то... Вы видите, уважаемый?

Кингстон-Литтль вскакивает и сует под нос Сэму блестящее дуло револьвера.

— Видите? Наши ребята живо сфабрикуют из вас покойника.

— Побей меня бог, мистер Литтль. Никому! Ничего!

Кингстон-Литтль садится на свое место и прячет револьвер в карман.

— Почему вы еще не экипировались, Сэм?

— Я еще не успел экип... Тьфу!

— Вон там сверток. Переоденьтесь. Вся одежда на вас в ключьях.

— Это от хлопушки?

— Ну да, от хлопушки.

В свертке новенький синий костюм. И кепка тоже.

И даже глаженная рубашка. Сэм живо переодевается и становится таким Сэмом, каким он был в лучшие времена.

— Вам вредно общество. Некоторое время, с месяц, вы должны жить один и забыть о хлопушке. Вот вам еще сто долларов. В версте отсюда — станция пригородной железной дороги. Купите билет, вернитесь в город, найдите сегодня же комнату, и завтра в десять часов утра приходите ко мне. Все.

Кингстон-Литтль кивает головой. Сэм выходит. Молодцов за дверью уже нет. Вдали, на пустыре, стоит автомобиль с шофером.

Сэм нащупывает в кармане нового костюма новенькие бумажки, идет по пыльной дороге к станции. Тревога улеглась в душе Сэма. Раз это была хлопушка, то до остального ему нет никакого дела, тем более что он, черт возьми, выходит-таки в люди.

Но вдруг он вспоминает: взмет пламени, что-то летит вверх и во все стороны, штукатурка сыплется с потолка на плечи, на голову, толчок воздуха опрокидывает его.

Разве от хлопушки это бывает? Что-то начинает вгрызаться в сердце Сэма, точно мышь, настойчиво и упорно.

На станции, когда Сэм стоит в очереди у окошка кассы, молодой человек в котелке говорит, обращаясь к фермеру с козлиной бородой:

— На Бродвей-стрите красные бросили бомбу.

— Нет, это была хлопушка, — вмешивается Сэм.

— Хороша хлопушка! Двое убитых и несколько раненых. Вы, парень, может быть, из ихней шайки?

— Линчевать их надо, вот что! — ворчит фермер, косясь на Сэма.

Сэм окончательно скисает, а мышка все яростнее вгрызается в его сердце.

Джек Райт — в тюрьме, но на свободе Эдвар Хорн из Сан-Франциско. Эдвар Хорн против Кингстон-Литтля.

Эдвар Хорн — против королей угля, нефти, стали, хлеба, против парламента, против сената, против самого господина президента. Он тут, он там, он везде — в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Чикаго, в Сан-Франциско. Во всей Америке гремит его голос, подобный грохоту железа. Может быть, их несколько, этих Эдваров Хорнов? Может быть... Газеты кричат:

— Президент Северо-Американских Соединенных Штатов принял послов Англии и Японии и заявил им, что народ Северо-Американских Соединенных Штатов не желает войны, но что народ не потерпит...

— Англия мобилизует флот и армию.

— Мы хотим мира, но мы готовы к отпору, и если...

— Не для войны, а для мира мы должны мобилизовать миллионную армию. Америка для американцев.

Ундерлип разговаривает по фоторадиофону с директором Эдвардом Блюмом:

— Война, мистер, начинается с биржи. Бросайте все английские бумаги на биржу... Пачками! Тюками!

— Но ценности падут, мистер. Курс английских бумаг полетит вниз, мистер.

— Война, мистер Блум, есть война и больше ни гвоздя.

— Но мы потеряем сотни тысяч долларов на падении курса.

— Мы потерпим, мистер. На войне теряют в одном, чтобы выиграть в другом... Словом, мне нужно падение английских бумаг.

— Будет сделано, мистер.

Стерлинги скользят вниз. Доллары летят вверх. Ундерлип, Лориссон, Бранд потирают боковые карманы. Америка для американцев. Большие дивиденды. Золото! Золото!

Сенаторы и депутаты голосовали в палатах за войну и, исполнив свой гражданский долг, принялись за свои маленькие частные дела. Они спускают английские бумаги. Они покупают акции «Гудбай», и акции Лориссона, и акции Дэвис, и акции Бранда. Потому что война — это много хлеба, металла, угля, нефти...

Кингстон-Литтль и Редиард Гордон пустили в ход идею. Без идеи никто не наденет хаки, никто не возьмет оружия, никто не будет подставлять себя под пули и снаряды.

— Война — варварство, мистеры. Цивилизованная Америка не хочет войны. Господин президент и господа сенаторы — величайшие пацифисты в мире. Они горят желанием раз навсегда покончить с войною. Надевайте хаки, берите винтовки, готовьте снаряды, помогайте убивать войну, мистеры. Кто не хочет убивать, тот должен воевать.

Зажглись янтарные яблоки фонарей над кино, над барами, над ресторанами. Вспыхнули электрические рекламы на крышах небоскребов и в огромных витринах магазинов. По обрамленным золотыми четками огней улицам струятся живые потоки: шляпы, кепи, котелки. Трости и зонтики. Ревут гудки автомобилей и омнибусов, хрипло дышат паровики поездов, пробегающих над крышами, звенят в звонки вожатые трамваев. Площади и скверы забиты толпами.

Толпа несет Сэма, стиснув его со всех сторон, сплющив его новенький котелок. Сэм слушал у Бруклинского моста Кингстон-Литтля и вместе с Кингстон-Литтлем хотел покончить с войною. Сэм знает, что такое война. Она дохнула ему в легкие отравленными газами, и с тех пор в его легких скрипит музыка. Плохая музыка, мистер!

Что это? Что это такое? Красные знамена? Америка для американцев, черт возьми! Долой красные знамена! Но их много, этих красных, и среди них люди в хаки. Навстречу толпе, которая вместе с Сэмом слушала и качала Кингстон-Литтля, ползет густая плотная лавина манифестантов с красными знаменами. Впереди шагают люди в хаки, шагают мерным, твердым, ладным маршем. Недаром их учили инструктора на ипподроме.

Музыка. Она играет гимн красных. И тысячи людей в один голос поют этот гимн. И люди в хаки тоже поют мужественными голосами.

Кингстон-Литтль говорит, что армия — опора нации.

Сам Кингстон-Литтль так сказал. Если люди в хаки поют гимн красных, то как это понять? Как это понять, черт возьми? Сэм непременно хочет понять и проталкивается к подвижной трибуне на колесах, задрапированной красным кушачом.

— То-ва-ри-щи!..

Наверху вырастает огромная фигура. Своей головой она как будто упирается в крыши небоскребов.

— Ти-ше! Эдвар Хорн говорит!

— Товарищи...

Разве этот человек говорит? Нет! Он берет Сэма горячими пальцами за сердце. Он трогает там внутри у Сэма какие-то струны, и они отзывно звенят. Мысли Сэма он зажигает огнем и бросает в Сэма этот огонь.

Когда Сэму выжгло газами легкие и он лежал в лазарете, он думал то же самое, что говорит Эдвар Хорн. Сэм ночевал в сточных канавах, на скамейках скверов, под мостами и думал то же самое, о чем говорит Хорн.

В душе у Сэма борются Кингстон-Литтль и Эдвар Хорн. Но эта борьба не успевает закончиться ни в ту, ни в другую

сторону: полисмены начинают свою работу дубинками по головам и плечам. Сэм мечется, закрыв голову руками и Сломавшись вдвое: он знает вкус полицейской дубинки.

Но люди в хаки не бегут. Они... С тех пор как стоит Нью-Йорк, на американской земле не было ничего подобного. Они опрокидывают омнибусы вверх колесами, выворачивают телефонные столбы, бьют окна оружейного магазина.

Бах! Бах! Сэм на мгновение глохнет, потому что выстрелы гремят у самого его уха. Люди в хаки и люди в кеши стоят на коленях за опрокинутыми омнибусами, и в их руках сверкают короткие вспышки. Бах! Бах!

К черту Кингстон-Литтля! Сэм был солдатом. Что дала ему война? Кровавый кашель? Ночевки в канавах?

Кингстон-Литтль никогда не воевал и не станет воевать, а ему служит мистер в белых перчатках. Ночевал ли Кингстон-Литтль в канаве? Голодал ли он месяцами?

Нет! Нет!

— Я был сапером, друзья. Дайте-ка мне вот этот лом. Я знаю толк в постройке заграждений, — это говорит Сэм.

Патриот Сэм помогает строить баррикаду, первую баррикаду, потому что Нью-Йорк никогда не видал баррикад. Что сказал бы на это Кингстон-Литтль?

Начальник полиции шевелит короткими, толстыми пальцами в воздухе. Это означает, что начальник полиции решает трудную задачу. Пошевелил пальцами перед своим бугристым носом — и решил.

— Позовите мне Пика.

Пик, старший агент, человек с мордочкой суслика, входит крадущейся походкой. Начальник подходит к дверям, запирает двери на два оборота ключа и, опять пошевелив пальцами, обращается к Пику:

— Надо обделать дельце, Пик, тонкое дельце.

- Слушаю.
 - Вы получите пятьсот долларов.
 - Благодарю, господин начальник.
 - Пятьсот долларов, если сделаете дело чисто, и каторжную тюрьму, если подгадите. Поняли?
 - Слушаю.
 - Через полчаса вы с двумя полисменами повезете Джека Райта.
 - Красную собаку, мистер?
 - Да, да. У вас будет письменный приказ доставить Джека Райта в тюрьму. По дороге автомобиль испортится.
 - Понял, мистер. И мы пойдем пешком.
 - Так, так, — отвечает начальник.
- Он предоставляет Пикку возможность обнаружить сметку. Это выгоднее. В случае чего, начальник полиции в стороне. Разве он что-нибудь сказал? Это сказал агент Пик. И агент Пик говорит:
- Джек Райт сделает попытку бежать?
 - Правильно, Пик. Он ее сделает.
 - Что тут хитрить, господин начальник? Ведь мы с глазу на глаз. Дело не новое. Надо убраться Джека Райта. Не так ли?
 - Вы очень догадливы. Если Джек Райт не захочет сделать попытку бегства, то...
 - То?
 - Вы сами понимаете. Пятьсот долларов, Пик. Пятьсот.
 - Итак, мы сделаем попытку бегства Джека Райта и пустим ему пулю вдогонку.
 - В затылок, Пик. Боже вас сохрани — не бейте в лоб. Только в затылок.
 - Я не маленький, господин начальник. Я знаю, что нужно следствию... Если бы мы сфабриковали сопротивление, а не бегство, то тогда надо было бы всадить пулю в лоб.
 - Стало быть, вы берете это дело, Пик?
- Агент Пик трясет своей сусличьей мордочкой. Начальник передает ему сложенную вчетверо бумагу — ордер.
- Смотрите же, без промаха.

— Я не промажу, мистер.

Через четверть часа под окнами полицейского бюро фыркает мотор. Начальник протирает рукою потное окно и глядит в темноту во двор. Длинный тонкий Джек Райт усаживается в автомобиль. Слева и справа садятся два полисмена. Пик садится с шофером на переднем сидении. Рожок ревет, автомобиль ныряет под каменную арку ворот, сверкнув задним фонарем и оставив хвост дыма.

VI

Ундерлип просыпается в отличном расположении духа. Солнце ярко играет на окнах его спальни, золотит складки гардин и сверкает зыблущимися зайчиками на паркете. Ундерлип нажимает кнопку звонка. Никого. Он морщит переносицу и звонит опять. Тот же результат. Отличное расположение духа Ундерлипа летит к черту.

Он звонит еще и еще. Наконец является его старый слуга, Дик.

— Мистер напрасно изволит сердиться. В доме нет ни души, кроме Дика. Почему? Великая забастовка, мистер. Сегодня рано утром, когда мистер изволил почивать, пришла целая банда. Какая банда? Из союза прислуги. Возможно, что у них были бомбы. Ну, бомбы не бомбы, но за револьверы Дик ручается. Разве мистер не знает, что этой ночью в Бруклине красные устроили целое сражение с полицией? Как же! Была такая перестрелка, что...

— Газеты! — останавливает поток его красноречия Ундерлип.

— Газеты не вышли, мистер. Я же говорю: великая забастовка.

— Подайте кофе. Что? Кофе не на чем сварить? Тока нет? Газа тоже нет? Хорошенькое дельце! А если забастовка затянется на неделю? Для меня не существует никаких забастовок: ни великих, ни малых. Слышите, Дик?

Мистер Ундерлип идет к умывальнику, поворачивает кран. Из крана вырывается свист. Как? Воды нет? Даже воды? Что же они пьют сами, эти бестии? Ну, ну, посмотрим. Забастовка имеет два конца. Пусть-ка они побастуют без воды, газа и электричества.

Хорошее настроение опять возвращается к Ундерлипу. Он накидывает халат и тем временем вспоминает об организации Кингстон-Литтля. Да, да, отчего они молчат? Что же, сотни тысяч долларов, которые затратил трест «Гудбай» на Литтля и его молодых, это пыль? Послушаем-ка, что там думает Кингстон-Литтль?

— Алло! Алло! Мистер Кингстон-Литтль?

Вот так штука! На экране фоторадиофона совсем не Кингстон-Литтль, а солдат. Да, солдат в хаки, как следует быть.

— Э-э, милейший! Позвоните-ка мистеру Кингстон-Литтлю.

— К сожалению, мистер, это невозможно. Станция не соединяет никого.

— Но я требую.

— Требуйте.

Экран гаснет. Ундерлип скисает вторично. Вот до чего дошло? Армия! Если даже армия, то дело дрянь. Неужели как в России?

Что-то грохочет на улице, под окнами дома. Накатывается, наползает что-то громоздкое, тяжелое, медлительное. Ундерлип прижимает свою голую голову к стеклу.

И тотчас же откидывается назад.

Головы. Вся площадь перед домом густо, плотно засеяна головами. Черные, белокурые, серебряные. Кепки и шляпы сброшены. Кровавятся крылья знамени. Длинный хобот пушки...

Вооружены даже женщины. Опоясаны пулеметными лентами. Ощетинились штыками колючие, как ежи, автомобили. Глинистые крапины хаки в море пиджаков и курток. Поют. Все поют...

Ундерлип, миллиардер, король хлеба, опускается ниже, ниже. Садится на пол. Король хлеба!

Т-с-с! Ундерлип ползет на четвереньках от окна к окну и задерживает гардины. Тс-с! Он пробирается в свой собственный кабинет, к своей собственной стальной кассе. На цыпочках. Он вкладывает ключ, отпирает кассу и сует в карман халата бумаги, горсти золота, еще бумаги. В карманы халата!

Точно вдруг раскупорились тысячи бутылок. Звенит стекло. Яркий свет над головой Ундерлипа. С потолка падает кусок штукатурки. В зеркальном стекле окна маленькая дырочка, и от нее, точно паучьи ноги, разбегаются во все стороны трещины. Что-то взорвали на улице, что-то ударило, сотрясло почву. Звякнули и остановились часы. И сразу загремело несколько громов, от которых зазвенели окна, дрогнули стены, забрякали хрустальные подвески на люстрах.

На цыпочках Ундерлип скользит к окну вдоль стены и, спрятавшись за рамой окна, глядит на улицу. Над площадью навис желтый дым. Белые грибы дыма всплывают на краю неба, где-то далеко над толпой небоскребов. Площадь пуста. Там и тут на ее асфальт кровавятся брошенные знамена и ползут темные живые бугорки, оставляя за собой алые следы. По краям площади, у самых стен обступивших ее домов блистают короткие огненные вспышки. Что-то, гудя, как трамвай, проносится в светящемся облаке над площадью и падает на асфальт. Оно вертится волчком, врываясь вглубь и разбрасывая вокруг фонтаны щебня и песка, потом грохочет и вскидывается вверх столбом дыма, огня и осколков. Окно, у которого стоит Ундерлип, лопается сверху донизу длинной, разветвленной, точно сороконожка, трещиной.

Так! Так! И вот так. И еще так! — торжествует Ундерлип, следя за полетом снарядов.

И вдруг он видит из окна: в подъезде его дома, собственного дома Ундерлипа, на ступеньках лежит человек в синем костюме, с винтовкой в руках. Этот человек набивает в камеру винтовки обойму с патронами, вытягивает руки с винтовкой и — бац-бац-бац! На ступеньке его собственного дома! Впрочем, может быть, это патриот? Если

патриот, то, конечно... Почему бы ему не стрелять в красных со ступенек собственного дома хлебного короля?

Да, верно. Это патриот Сэм. Но он, этот патриот, стреляет не в красных, а в своих. Патриоты засели на противоположном конце площади, у края панели, и чахоточный Сэм, покашливая и похаркивая, посылает им пулю за пулей.

Опять снаряд. От его разрыва лопнувшее окно в кабинете Ундерлипа разлетается в мелкую стеклянную пыль, и волна сгущенного воздуха, ворвавшись в кабинет, ударяет в люстру. Осколки хрустали падают сверкающим дождем на красный бобрик на полу.

Ундерлип снова опускается на пол. Его посиневшие губы пляшут. Он ползет по-собачьи по бобрику, не находя в растерянности дверей, тычется головою о стены, задевает и опрокидывает тумбу с вазой и, со страху, совсем распластывается на полу.

Да, да, надо выбраться отсюда. Куда-нибудь пониже, пониже. Ундерлип, миллиардер, ползет на животе по ступенькам. Он добирается до дверей каморки Дика, открывает дверь и поднимается на ноги. Он садится на табурет, но, почувствовав тошноту, ложится на жесткую кровать своего слуги. Ундерлип, хлебный король!

У полицейского автомобиля, на котором агент Пик везет Джека Райта, лопается передняя шина. Она лопается со слишком сильным грохотом, с каким-то двойным взрывом, и сидящий справа, как раз у этой шины, Пик быстро прячет в карман револьвер. Может быть, Пик выстрелил в шину?.. Очень может быть.

Во всяком случае, автомобиль дальше не поедет, потому что нет запасной шины. Не угодно ли мистеру Райту вылезть из автомобиля? К сожалению, придется пройти пешком версты полторы. Один полисмен останется с машиной, потому что шофер отправился за шиной, а автомо-

биль нельзя оставлять в этой глухой местности без надзора. Другой полисмен пойдет сзади, а Пик, с позволения мистера Райта, должен взять его под руку. Вот так. И мистеру удобно, и для Пика надежнее.

Не обижается ли мистер Райт на Пика за недоверие? Честное слово, Пик действует в интересах мистера Райта. Мало ли что в положении мистера Райта может взбрести в голову? Например, может взбрести в голову сумасшедшая мысль — бежать. Да, сумасшедшая. Знает ли мистер инструкцию? Нет? Инструкция предписывает: в случае, если арестант — извините, ради бога, сопровождаемый конвоем, попытается бежать, конвой, при невозможности задержать арестанта — простите! — обязан стрелять. Заметьте, мистер Райт, о-бя-зан! Таким образом, беря под руку мистера Райта, Пик гарантирует его от двух бед: от попытки бежать и своей обязанности стрелять...

Да, местность глухая. И к тому же темно, как у негра... Где у негра темно? Ну, скажем, в носу. И еще к тому же в этой местности — свалки. Тут легко спрятаться так, что даже полицейская собака не сыщет. Стоит только отбежать на несколько шагов и — ищи ветра в поле!

Джек Райт крепко сжал челюсти и молчит. Эта лопнувшая шина. Конечно, Пик выстрелил в шину. Джек Райт слишком крупный зверь, чтобы рискнули вести его пешком, ночью, под конвоем двух полисменов. И еще: второму полисмену ведено идти сзади. Почему?

Джек Райт далеко не трус. Он бывал в разных переделках. Но сейчас у него крепко бьется сердце, и он плотно сжимает челюсти, чтобы не обнаружить дрожь, которая пробегает по его телу. Инструкция. Это очень удобная инструкция, когда полиции надо убрать революционера, не прибегая к суду.

Может быть, мистер Райт молчит из презрения к Пику? Мистер, надо знать душу человека. Пик сочувствует некоторым идеям. Если бы Пика спросили, надо ли держать в тюрьме такого блестящего оратора, как мистер Райт, Пик ответил бы: нет, тысячу раз нет! И если бы Пику не угрожала неприятность по службе, он, пожалуй, исполнил бы

инструкцию спусть рукава и дал бы мистеру Райту скрыться.

А ведь идея, в самом деле! Предположим, мистер Райт делает попытку бежать, а Пик стреляет из этого браунинга вверх или в другую сторону. Инструкция выполнена и никаких неприятностей. А?

Обдавая Райта запахом гниющих зубов, Пик шепчет ему в лицо:

— Как вы думаете? А? Право, я симпатизирую вам.

И в это время выпускает руку Райта и, сбавив шаг, чтобы отстать от него, поднимает правую руку с браунингом.

Но прежде чем Пик успевает нажать спуск, Райт быстро оборачивается к нему и ударяет его кулаком по руке. Браунинг падает. Райт отбрасывает его ногой и, низко пригнувшись к земле, скользит в темноту.

— Стреляй, дьявол! — кричит Пик.

Полисмен выпускает один за другим заряды. Оба зажигают электрические фонарики и рыщут между холмами отбросов, гниющих на свалках. Пик не находит ничего, кроме своего револьвера. С досады он тоже выпускает все заряды и одновременно выпускает весь свой запас отборнейших выражений. Так как у него больше нет в запасе ни пуль, ни крепких слов, то он хлопает себя по одной щеке, потом по другой:

— Болван! Идиот! Промазал, старый дурак! Где твои пятьсот долларов, растяпа ты этакая?

После этой тирады Пик сует свой браунинг в карман и молча шагает с полисменом в обратный путь.

VII

Если красные возьмут верх, Кингстон-Литтль лишится Ундерлипа — курицы, несущей золотые яйца, и, может быть, лишится даже головы, рождающей блестящие идеи. Те, кто имеют работу, бросили ее. Безработные хотят работать. Великая забастовка может быть сорвана и будет сорвана.

Эту идею Кингстон-Литтль выбрасывает на митингах. Летая на автомобиле с одного конца Нью-Йорка в другой, он щедро сеет в головы безработных патриотов: кто хочет работу, немедленно получит работу за двойную плату.

Улицы перетянуты колючей проволокой, взрыты, загромождены опрокинутыми omnibusами, телегами, телеграфными столбами. Одни баррикады покинуты, и собаки слизывают на мостовой подле них кровь. У других баррикад кипит бой. Новобранцы — с красными. Часть артиллеристов примкнула к красным. Мужики с юга с крепкими затылками, с воловьими шеями, с низкими лбами, бьют красных. Они истые патриоты, потому что дорогой хлеб — это хорошие доходы, это крепкое хозяйство. Идея Ундерлипа им по нутру, этим мужикам с ферм и хлебных плантаций. Поэтому, сменив крестьянское платье на хаки, они крепко стоят за порядок Ундерлипа и послушно идут, под командой инструкторов, брать баррикады и бить красных.

Бродвей был в руках патриотов. Сам Кингстон-Литтль сидел в бывшем клубе красных «Пятиконечная Звезда» и распоряжался ходом сражения. И вдруг. Да, да, совершенно неожиданно. На Бродвей-стрите появились танки. Четыре танка. Медленно ползли эти бронированные черепахи, громыхая своими тяжелыми цепями, наползали на заграждения и давили их в лепешку.

Нет! Ни за что! Кингстон-Литтль не согласится очистить Бродвей. Разве в Нью-Йорке только четыре танка? Двиньте белые танки против красных. Начальник штаба патриотов на Бродвей-стрите, трясая своей метелкой-бородой, разводит руками; броневые части вообще ненадежны. Танки ненадежны. Командование сознательно не двигает их в бой, потому что... Потому что в броневых частях служат обыкновенно горожане. А городские рабочие, мистер Кингстон-Литтль, это городские рабочие. Да!

Бронированные гусеницы переползают через последние заграждения патриотов. Кингстон-Литтль выходит из клуба «Пятиконечная Звезда» и садится в автомобиль. В эту минуту на его колени падает сверху четырехугольный красный листочек. Кингстон-Литтль подносит его к глазам:

«Бостон в руках коммунистов. В Англии восстала половина флота».

Восковые пятна проступают на щеках и на лбу Кингстон-Литтля. Он комкает красный листок и кричит шоферу:

— Черт вас возьми! Что вы возитесь там? Трогайте, черт вас возьми!

На углу Бродвея, в аптеке — перевязочный пункт. С Сэмом случилась маленькая неприятность. Пуля впиалась ему в левое плечо как раз в ту минуту, когда он целился в Кингстон-Литтля, усаживающегося в автомобиль. Ах, как жаль, что ему не удалось уложить этого мошенника.

В дверях аптеки Сэм сталкивается носом к носу с Джеком Райтом. Сэм разевает рот, выпучивает глаза и смотрит на Джека Райта.

— Что вы так уставились на меня, товарищ?

— Я... вы... Кингстон-Литтль... Бомба... — лепечет Сэм.

— Какая бомба? Где бомба?

— Разве вы не в тюрьме, мистер Райт?

— Как видите, милый, я не в тюрьме.

— И вам ничего не сделали?

— Как видите.

Сэм забывает про свою рану. Он хватается Джека Райта за руку и тянет его в уголок аптеки.

— Я должен сказать вам что-то, мистер Райт.

— Но, может быть, время терпит, мистер? У вас плечо в крови. Сделайте себе раньше перевязку.

— Нет, нет, мистер Райт. У меня болит в другом месте, вот здесь, — стучит себя в грудь Сэм. — Перевязка не поможет.

— Чудак! — пожимает плечами Джек Райт и отходит с Сэмом в угол. Сэм пытит. Он не знает, с чего даже начать. И вдруг выпаливает:

— Это я бросил бомбу!

Райт недоуменно смотрит на него.

— Тогда... Пятнадцатого числа... Из вашего клуба «Пятиконечная Звезда»...

— Вы? Зачем же вы это сделали, мистер? Кто вам ее дал? Джек Райт сверлит блестящими глазами Сэма.

— Кто вам дал бомбу?
— Кингстон-Литтль, мистер.
— Кингстон-Литтль? Лично?
— Лично. Сам. У себя на квартире.
— Вы были патриотом, мистер?.. Не знаю, как вас зовут.
— Сэм. Меня зовут Сэм... Я был патриотом. И безработным. Кингстон-Литтль заплатил мне двести пятьдесят долларов...

— Ага! Ага! Отлично, мистер Сэм! Отлично! Делайте скорее свою перевязку.

— Мистер Райт. Еще одно словечко. Кингстон-Литтль уверял меня, что это не бомба, а хлопушка.

— Ладно, ладно, Сэм. Ждите меня здесь. Через десять минут мы поедем.

В дверях Джек Райт останавливается на минуточку в раздумьи и возвращается к Сэму.

— Слушайте, товарищ. Вы не боитесь рассказать все это на митинге патриотов в лицо самому Кингстон-Литтлю?

— О, мистер, я брошу все в лицо этому мошеннику. Я ничего не боюсь.

— Отлично, мистер Сэм, отлично!

В большом крытом пакгаузе у гавани, тускло освещенном несколькими угольными лампочками, выступает Кингстон-Литтль. Его коротенькое, толстенькое тело взгромоздилось на тюк с хлопком, заменяющий трибуну. Он машет руками, точно птица крыльями, и бросает в тесную, плотно сбитую толпу патриотов свою идею срыва великой забастовки:

— Завтра с утра на всех фабриках Нью-Йорка начнется прием новых рабочих. Идите работать. Вы получите двойную плату. Патриоты должны помочь правительству справиться с этой чумой, занесенной к нам из Москвы. Двойная плата и акции компании «Гудбай», дающие высокий дивиденд, в рассрочку каждому патриоту.

Человек десять проталкиваются к Кингстон-Литтлю.

Они окружают тесным кольцом Сэма и пробивают себе дорогу локтями и кулаками. Они кричат во всю силу своих глоток «ура», как и настоящие патриоты, и им очищают

дорогу. И, пробившись к тюку с хлопком, Сэм кричит Кингстон-Литтлю:

— Мистер Литтль! Мистер Литтль! Я хочу сказать несколько горячих слов. Я только что из Бродвея, из самого гнезда красных. Дайте мне слово.

— Пусть говорит! — кричат во все горло десять человек, сгрудившись вокруг Сэма.

— Пусть говорит! — подхватывает собрание.

— Говорите, мистер Сэм, — приглашает его жестом на тюк хлопка Кингстон-Литтль.

И вот Сэм на тюке, рядом с Кингстон-Литтлем. Вместе с кровавым плевком он выбрасывает из своей груди:

— Товарищи! Вы помните бомбу на Бродвей-стрите?

Кингстон-Литтль подскакивает, хватая Сэма за руку.

— Молчите, болван! Об этом теперь не время говорить.

— Пусть говорит! — орут товарищи Сэма.

— Дайте ему говорить! — грохочет собрание.

И Сэм говорит.

— Эту бомбу бросили в патриотов не красные. Эту бомбу дал мне Кингстон-Литтль и велел мне бросить в вас.

Кингстон-Литтль опять подскакивает и хватая Сэма за горло.

— Ты лжешь, бестия! Тебя подкупили.

— Да, подкупили! — оттолкнув Литтля, кричит Сэм. — Этот мошенник заплатил мне двести пятьдесят долларов. Он втер мне очки. Он втирает вам очки, товарищи.

— Долой агентов Москвы! — кричит Кингстон-Литтль.

— Долой! Долой! — подхватывают все. — Бей его!

И вдруг на трибуну вскакивает высокий тонкий человек с алым крестом на лбу.

— Я — Джек Райт, коммунист! — бросает он металлическим голосом.

Кингстон-Литтль цепенеет. Все собрание цепенеет.

— Кингстон-Литтль подстроил историю с бомбой, чтобы упрятать нас в тюрьму. Для своей игры он не пожалел вашей крови. Гоните вон Кингстона-Литтля. Он лакей миллиардеров.

Толпа патриотов бросается к трибуне с ревом:

— Ложь! К суду Линча красную собаку!

Другая толпа патриотов стучит палками и кулаками.

В правом углу пакгауза гремит выстрел. Пуля свистит у уха Райта. Кто-то обрезает электрический провод. Свет гаснет. Свалка. Револьверные выстрелы хлопают, как удары бича. Десять человек с Джеком Райтом во главе вырываются из пакгауза на улицу и, сев в автомобиль, мчатся из гавани в город.

VIII

— Алло! Кингстон-Литтль вызывает мистера Ундерлипа.

Это правда? Фоторадиофон работает? Или слух лжет. Ундерлип решительно не верит своим ушам.

Но труба фоторадиофона упорно выкликает:

— Алло! Алло! Мистера Ундерлипа...

— Как, как? А ну-ка, повторите еще раз.

— Вызывают мистера Ундерлипа! — труба фоторадиофона гремит на всю комнату.

Отлично. Очень... Итак, красным — капут. Все приходит в порядок. Будет свет. И вода. И акции. И дивиденды. Ура! Ура! Молодцы патриоты.

— Я, это я, Ундерлип, Кингстон-Литтль.

— Дорогой Кингстон-Литтль, скорее же. Ну, ну!

Коротышка Кингстон-Литтль на экране — весь как есть. Только вот голова... Она точно в белой ермолке, от лба до затылка и ушей забинтована. Ранены? Пустяки? Отлично. Превосходно. Ну же?

Разве мистер еще не знает? Эге! В Америке сыскался человек, который умеет употреблять порох. Кто такой? Генерал Джордж Драйв. Железная рука! Каменное сердце!

Кингстон-Литтль потрясает своим кулачком в воздухе. Это означает железную руку. Потом он ударяет себя кулачком в грудь, демонстрируя железное сердце генерала Драйва.

Генерал Джордж Драйв сказал: «Нам не нужны говорильни». Теперь эти золотые слова стали лозунгом всех патриотов. Палата распущена. Сенат тоже. Президент распущен... То есть нет. Президент передал свои полномочия генералу Джорджу Драйву.

Что мистер говорит? Это пахнет диктатурой? Совершенно верно, диктатура. Железная и беспощадная. Генерал Драйв не знает разных фигли-мигли. Что такое «фигли-мигли»? Генерал не любит дипломатии. Например, в Бостоне были взяты в плен две тысячи красных.

Генерал отдает приказ: «расстрелять». Всех? Ну да! Всех до одного. Поставили пулеметы и чик-чик-чик! Чисто сделано! Демократы Бостона послали депутацию к генералу. Так и так, генерал, во имя гуманности следует помиловать женщин. Что им ответил генерал Драйв?

Тех, кто будет мешать мне гуманностью, я буду вешать. Красных расстреливать, а гуманных вешать. Да-с!

Ундерлип просит Кингстон-Литтля держаться ближе...

Что слышно в Нью-Йорке? Где же газ? Где электричество? Почему все еще не выходят газеты?

Кингстон-Литтль не отвечает. Вот ответ. Он разворачивает белую афишу. Фоторадиофон приближает ее. Ундерлип читает вот что:

«Я, главнокомандующий республики, генерал Д. Драйв, объявляю:

Во-первых, жителям — в суточный срок сдать все оружие. Ослушники будут расстреляны без суда.

Во-вторых, солдатам — в двадцать четыре часа вернуться в казармы. Ослушники будут расстреляны без суда.

В-третьих, рабочим — в суточный срок стать на работу. Ослушники будут расстреляны без суда.

В-четвертых, всем — сидеть дома. Ослушники будут расстреливаться патрулями на улице.

В-пятых, массовые скопища прекратить немедленно. Будет применен артиллерийский огонь из тяжелых орудий, без предупреждения.

В-шестых, всем благоразумным гражданам в суточный срок выехать из Бруклина, цитадели красных. Через двадцать четыре часа в Бруклин будут выпущены ядовитые газы.

ГЕНЕРАЛ Д. ДРАЙВ».

Ундерлип читал афишу раз. И еще раз. Bravo! Bravo! Вот это настоящие слова!

Но вдруг восторг Ундерлипа подмораживается сомнением. Что, если ослушников окажется больше, чем послушных? Кто будет тогда расстреливать?

Мистер Ундерлип может положиться на генерала Джорджа Драйва. Железная рука! Каменное сердце!

Эта приятная беседа по фоторадиофону внезапно обрывается. Гаснет экран. Труба немеет. Ундерлип остается с раскрытым ртом у приемника.

В кабинете Ундерлипа колеблется из стороны в сторону копьё света одинокой свечи, источающей стеариновые слезы. Из разбитого окна, заклеенного бумагой, тянет ночным ветром. На улице режут орудия и тарахтит заглушенная пулеметная дробь. Голубовато-белый меч прожектора воробовато крадется по площади и, ткнувшись в окно, зыблется на полу, на стене, на потолке и гаснет.

Может быть, разговор с Кингстон-Литтлем — сон. Может быть, генерал Джордж Драйв и его афиша, расстреливающая всех поголовно без суда, выдумка или призрак. Одно ясно: ночь за окнами черна, свеча на столе одинока и жалка, окно в кабинете миллиардера разбито и убого заклеено бумагой. А яснее всего — пальба, эта пальба без роздыха и без конца.

Щеточка белых усов. Серебряные клочья бровей. Ледяные серые глаза. Колкая белая щетина на голове. Острый клюв навис над сбегающими вниз тонкими синими губами. Генерал Джордж Драйв, диктатор.

Перед генералом Драйвом директор электрического треста. Генерал указывает своим сухим пальцем на свечу.

— Что это такое?

— Свеча.

— У меня есть имя и чин. Повторите ответ полностью. Что это такое?

— Свеча, генерал Драйв.

— Верно. Сверьте свои часы с моими, мистер. Теперь двадцать один час и семь минут. Сверили?

— Да, генерал.

— Завтра в двадцать один час и семь минут здесь не должно быть никакой свечи. Электричество будет работать.

— Но, генерал... Если бы это была экономическая забастовка, мы уладили бы. Но это политическая забастовка...

Генерал резко прерывает директора:

— Никакой разницы. Разница между экономической и политической забастовкой сидит в вашей голове. Вы будете повешены, мистер, если завтра к двадцати одному часу будет еще существовать основание для разницы. Больше ничего. Вы можете идти.

То же самое генерал говорит директору городских железных дорог:

— Без всяких «но». Завтра начнется движение, или вас повесят, мистер. Будьте здоровы.

Затем он подходит к столу с разостланной на нем картой Нью-Йорка, на которой красными крестиками размечены очаги восстания, и велит пригласить к себе начальников частей.

— Капитан Крук!

— Есть, генерал.

— К тринадцати часам Слэм будет разнесен пушками.

— Артиллерия ненадежна, генерал.

— Это меня не касается. Она будет надежна, или вы будете поставлены к стенке. Полковник Росмер!

— Здесь, генерал.

— К тринадцати часам взять Манхэттен.

— Будет исполнено, генерал.

Капитан Кар не может выговорить ни слова. У него свело челюсти. На лбу выступил пот.

— Мои танки... Генерал, мои танки... — лепечет капитан Кар.

— Ну да, ваши танки, капитан.

— У меня нет танков, генерал.

— Где же они, капитан Кар?

— Они перешли на сторону красных.

— Капитан Кар, отдайте мне ваше оружие. Так. Полковник Росмер, передайте капитана Кара конвойным на гауптвахту. Поручаю вам распорядиться... чтобы к утру капитан Кар был расстрелян.

Полковник Росмер бледнеет. У него дрожат руки.

— Ну, полковник?

— Генерал. Поручите это кому-нибудь другому. Капитан Кар — муж моей дочери, генерал.

— На службе нет родства. Он муж вашей дочери? Вы выбрали ей плохого мужа, а потому вы сами будете распоряжаться расстрелом. Или... Вы понимаете? Налево кругом — марш!

— Слушаюсь, генерал.

В кабинет входит офицер, забрызганный с ног до головы грязью. Приложив руку к козырьку, он деревянно рапортует:

— Имею честь доложить, что моей частью взято в плен около трехсот повстанцев.

— Около? Что значит «около»? Точно!

— Двести восемьдесят мужчин, семь женщин и три подростка, генерал.

— Я уже приказал: пленных не брать.

— Мужчины расстреляны. Но женщины и эти дети, генерал.

— В моем приказе нет оговорок о поле и возрасте. Расстрелять. После подавления восстания вы сядете под арест на двадцать восемь суток. Ваша фамилия?

— Капитан Генри, генерал.

— Адъютант, запишите: капитан Генри. На двадцать восемь суток. Ступайте, капитан Генри.

В три часа ночи генерал Драйв отправляется спать.

Он стаскивает сапоги и ложится в одежде на походную складную кровать. У дверей огромной комнаты, в которой он спит, дежурят офицер и двое часовых. Оставшись один, генерал Драйв осторожно крадется к двери. Пробует, заперты ли двери. Возвращается на место, ложится и опять вскакивает. Где револьвер? Разве можно, ложась спать, не иметь револьвера наготове? А вдруг! Чем черт не шутит. Генерал Драйв осматривает обойму: патроны на месте. Опять ложится и опять вскакивает. Бежит к дверям. Отпирает их.

— Дежурный! Дежурный! — зовет он.

— Здесь, генерал.

— Ага! Хорошо. Войдите-ка на минутку ко мне.

Затворив двери за дежурным офицером, генерал Драйв спрашивает его шепотом:

— Стража расставлена?

— Расставлена, генерал.

— Сколько человек?

— Пятьдесят, генерал.

— Пятьдесят человек. А если повстанцы... Двести надо, двести, не меньше. И надежных людей. Вооружитесь ручными гранатами. Слышите?

— Слушаюсь, генерал.

Вслед уходящему дежурному офицеру генерал Драйв кричит:

— Если что-нибудь случится, то... без суда. К стенке.

И так всю ночь. Генерал Драйв временами забывается легким сном. Временами! Но больше бодрствует. Бродит в носках по огромной комнате. Слушает орудейный грохот. Что-то шепчет. Осматривает двери. Примыкает глазом к замочной щели и оглядывает двух часовых, стоящих по обеим сторонам дверей, ведущих в коридор, офицера, дрем-

лющего за столиком со свечой. И опять шепчет. И опять бродит в одних носках. Генерал Джордж Драйв, диктатор, не спит всю ночь.

IX

Человек, имеющий свою собственную мотоциклетку, ничего не делает сломя голову. Собственная мотоциклетка внушает благоразумие и осторожность. Сосед Сэма, токарь Кистер, действует с опаской и оглядкой. Знает ли мистер Сэм, что такое риск? Ничего нет легче, чем понять головой, что такое риск. Но почувствовать сердцем, душою — это, мистер Сэм, не всякому дано.

— Черт возьми, прожил-таки жизнь, — поглаживая седую бородку, растущую гвоздиком из подбородка, говорит токарь Кистер. — Да, Сэм, я прожил жизнь. У меня есть кое-что позади и есть кое-что впереди, Сэм. Ваш брат ходит по свету с пустыми руками. Что вам терять? Вам нечего терять, Сэм. Если бы я был в вашем положении, пропадай моя телега, все четыре колеса! Но в моем положении — иное дело.

У токаря Кистера имеется не только собственная мотоциклетка. У него золотые руки. Тот, кто работает по выточке точных инструментов, не пропадет на свете.

— Ваш Хорн сулит журавля в небе, которого надо прежде всего достать. У меня в руках своя маленькая синица, и я боюсь ее упустить. Моя голова для меня, Сэм, дороже всех посулов на свете. Потому что, если меня убьют, мне не нужно будет никаких журавлей.

Сэм сидит в комнате у токаря Кистера, пьет кофе с булочками, приготовленными женою Кистера, и чувствует благополучие Кистера. Гарнитур зеленой плюшевой мебели, кисейные занавески на окнах, граммофон на столе это не пустяки, черт возьми. Да, у токаря Кистера имеется в руках своя синица.

Но Сэм все-таки не сдает позицию. Разве токарь Кистер не чувствует железной лапы этих золотых мешков? Еще как! Мистер Кистер получает меньше, чем он стоит.

То-то! Если Кистер заболит, все его благоденствие разлетится, как дым. Так, так! А если он умрет, его жена, его дети... Ага! Именно, именно, про это и говорит Сэм, про это говорит Эдвар Хорн.

— Нет, Кистер, ваша синица слишком маленькая синица, — торжествует Сэм, — ваша синица, Кистер, не стоит хорошего плевка.

Сэм пахнет порохом. Всю ночь он сражался на Манхэттене. Левое плечо его забинтовано. Нет, Сэм неблагоразумен и не будет благоразумным. Когда все голодают, а десятка два миллиардеров купаются в роскоши, Сэм плюет на благоразумие и советует Кистеру сделать то же самое.

— Вы задели мое самолюбие, Сэм, — Кистер делает обиженное лицо и дергает свою остренькую бородку. — Вы думаете, что у меня нет чувства товарищества? Что я думаю только о своей шкуре? Вот, смотрите.

Кистер лезет в свой боковой карман и, вытащив карточку, сует ее под нос Сэму.

Те-те-те! Рабочая партия! Токарь Кистер — член рабочей партии? Ведь это же втиратели очков. Они сидят на двух стульях сразу. Эдвар Хорн разоблачил их, и Сэм знает хорошо этих господ. Они тоже кричат о пролетариате, тоже клянутся Марксом и Лениным, тоже колотят себя кулаком в грудь, а тайком шушукаются с капиталистами. Что? Разве не так?

— Вы слышали когда-нибудь Эрна, Сэм? Ну, вот! Вы не слышали Эрна, оттого вы так говорите. Послушайте Эрна. Советую, Сэм. Я, кстати, собираюсь на собрание, на котором будет выступать Эрн. Идемте.

Сэм собирается на собрание, на котором будет выступать Эдвар Хорн. В двенадцать часов. Как? И Эрн выступает там? В том же помещении? Вот так штука. Эрн против Хорна. Это любопытно.

Несмотря на запрещение генерала Драйва, благоразумный Кистер выходит на улицу. Ведь грозил же генерал Драйв пустить газы на Бруклин. И что же? Химическая рота перешла на сторону красных, и газы остались пустой угрозой. Пока солдаты Драйва еще не проникли в Бруклин, нечего бояться расстреливающих афиш диктатора Драйва.

Оба приятеля — благоразумный токарь Кистер и неблагоразумный Сэм идут на собрание, где Эрн будет выступать против Хорна.

В зале много Кистеров и Сэмов. Кистеры одеты аккуратно, Сэмы оборваны. Кистеры ведут себя чинно и солидно, Сэмы вооружены, шумливы и взволнованы.

Теодор Эрн. Сэм где-то видел этого чернобородого человека, плотно сбитого и плотно сложенного. Да, да, да!

Это врач, у которого Сэм лечился еще тогда, когда был безработным. Два доллара за совет, а бедные — по пятницам. Мистер Сэм, вам нужно ехать на юг, кушать виноград и пить молоко, а если у вас нет средств, то мне нечего вам сказать. Такой разговор был у Сэма с Теодором Эрном три года тому назад. Ничего общего с политикой.

Теодор Эрн разглаживает свою бороду и гудит, как большая муха. Революция — это не вспышкопускательство. Маркс сказал... Энгельс сказал... Каутский говорит... Точно град тяжелых камней сыплется на головы Сэмов и Кистеров ученные выкладки и соображения. Кистеры делают умные лица, у Сэмов в глазах тоска. А Теодор Эрн, поглаживая свою бороду, бубнит и бубнит. Революции не делают штыками. Революция, видите ли, тонкая штука. Ее делают, видите ли, мирным путем, у избирательных ящиков. Вы хотите добиться социализма? Великолепно! Подавайте голоса, сыпьте побольше голосов, и когда Теодор Эрн и его единомышленники займут всю левую, и весь центр, и всю правую парламента, и тогда не будет ни левой, ни центра, ни правой, а будет социализм. Без единой капли крови, без единого выстрела. Голоса? Голоса!

Голос Теодора Эрна густеет. Теперь уже гудит не одна муха, а целый рой больших мух. Благоразумие, мистеры! Сотни расстрелянных... Тысячи убитых. В профессиональ-

ных кассах не осталось ни цента. Великая забастовка выкачала всю наличность. Генерал Драйв возьмет верх. Что тогда, мистеры? О, мистеры, начинается реакция. Что такое реакция? Профессиональные союзы будут разогнаны. Все будет разогнано. Благоразумие, мистеры, благоразумие!

— Ага! Ага! Мы же говорим то же самое, — торжествуют Кистеры.

— Золотые слова! Браво, Теодор Эрн, браво!

— Пора прекратить волынку! На работу, мистеры!

Сэмы возмущены:

— На работу? Ломать стачку? Попробуйте, мистеры.

— Пусть говорит Хорн. Подавайте нам Хорна.

Эдвар Хорн не говорит, а выжигает каленым железом... Маркс... Энгельс... В руках Хорна они жгут душу, они трубят сбор боевых сил. Благоразумие? Где было ваше благоразумие, когда миллиардеры объявили войну? Вы говорили об обороне отечества. Почему мистер не говорит об обороне пролетариата? Мистер говорит о благоразумии, когда на нашей стороне половина армии. Благоразумие, когда улицы Нью-Йорка забрызганы рабочей кровью. Пусть мистер отправляется к диктатору генералу Драйву, и пусть он с ним поговорит о благоразумии.

Сэмы кричат и стучат ногами и палками.

— Браво, Хорн! Браво! К черту благоразумие.

— Пусть идет к Драйву! Долой Эрна!

Кистеры тоже стучат ногами и палками и тоже кричат:

— Долой Хорна! Долой забастовку!

— У нас есть семьи! Долой отчаянных!

Но Эдвар Хорн не кончил. Когда стихает шум, Хорн выдвигает против Эрна факты: южные и восточные штаты в руках красных. Президент... Что он сказал о президенте? Разве это может быть? Президент арестован?! Сам президент!

— У-ра! У-ра!

— Гип! Гип!

Да, да, президент арестован. Правительство Соединенных Штатов наполовину сидит в тюрьме, а наполовину скрылось.

— Гип! Гип! Мы будем их судить.

— На веревку президента! Гип! Гип!

Но Хорн продолжает. Мистеры услышат кое-что и о флоте. Не сегодня так завтра. А слышали ли вы о том, что делается в Англии? Английский флот восстал. В Лондоне бои. Может быть, мистер Эрн отправится к диктатору Драйву? Может быть, он скажет ему несколько слов о благоразумии. О том, что его дело проиграно, и о том, что пора прекратить кровопролитие.

Кистеры молчат и, насупившись, покидают зал. Сэмы подхватывают Хорна на руки и несут его по улице.

И поют... В пороховой копоти, со шрамами на лицах, с перевязками, с револьверами за поясами, с винтовками за плечами, они поют. И город отвечает им ревом орудий и болтовней пулеметов.

Город ревет ту же песню огня и битвы.

На заре генерал Драйв перестал бегать по комнате, щупать свой браунинг, шептать. Он засыпает. Но сквозь сон он слышит стук в двери и вскакивает:

— Кто там? Кто там?

И хватает револьвер, наводит на дверь.

— Кто там? Кто стучит?

— Срочное донесение, генерал.

Генерал Драйв входит в домашние туфли и отпирает дверь. На всякий случай револьвер под рукой на столе, палец на спуске.

— Под козырек! Руку под козырек! По уставу!

Ординарец не может взять под козырек. У ординарца весь правый рукав в крови. Кровь капает с рукава и алыми звездочками ложится на пол.

— На эстафете указано: доставить в двадцать два часа. Теперь пять. Почему вы опоздали на целых семь часов? — Генерал смотрит своими колючими глазами на ординарца.

Гавань занята красными. Ординарец пробрался через заграждения красных. Бродвей занят красными. Ординарца ранили на Бродвее.

— Я ничего не хочу знать о красных и о том, что они заняли. Вы должны были умереть, дважды умереть, семьдесят раз умереть, а доставить эстафету в срок. Адьютант, запишите под суд. Ваша фамилия?

— Грахам, генерал.

— Запишите под военный суд.

— Есть, генерал.

Генерал Драйв вскрывает пакет. Во флоте началось брожение. Адмирал не ручается. Младшие офицеры колеблются. Адмирал просит...

Генерал Драйв рвет эстафету на мелкие клочья. Эти клочья он рвет на мелкие клочки. Генерал забыл об ординарце и рвет, и рвет бумагу, шепчет что-то синими губами. И вдруг вскакивает и кричит:

— К стенке, к стенке! Расстрелять! Пишите, адъютант. Пишите же!

— Кого расстрелять, генерал?

— Кого? Меня! Вас! Всех! Пишите же!

Он опускается на стул и берет себя в руки. И слабым старческим голосом говорит:

— Пишите приказ. Полковнику Томсону с полком пехоты и полковнику Дебреру с артиллерией немедленно двинуться к гавани. Умереть, а пробиться. Пишите! Пехоту разместить по указанию адмирала на подозрительных судах, арестовать зачинщиков и неблагонадежных. Флот взять под обстрел артиллерии и, в случае чего, начать бомбардировку флота. Пишите.

— Готово, генерал.

— В одиннадцать часов все должно быть исполнено. Пишите.

— Написано, генерал.

— Уходят.

Генерал запирает дверь и, оставшись один, начинает за чем-то рыться в своем чемодане.

Часть вторая

Х

На дредноуте «Авраам Линкольн» стоит часовой. Окаменел. Часть огней притушена. Электрические лампы тускло желтеют на мостике, в кают-компаниях, на шканцах...

Из океана наплывает туман... Пропал «Авраам Линкольн», крейсера и миноносцы. Прожектор с головного крейсера осторожно прощупывает туман и вырывает из него то толпу серых труб, опоясанных черными и красными кольцами, то хобот орудия, одетого в брезент, то покатым бок подводной лодки.

Со стороны города туман пропитан кровью зарева.

Город беспрерывно рычит. Точно сотни телег на железных колесах тарахтят на его улицах. Огненный град падает над городом. Огромные огненные комья снарядов рвутся, рассекая пламенными брызгами туман и рассыпая раскаленную пыль.

Вдруг на «Аврааме Линкольне» вспыхнула и взвилась ракета.

И не успела она рассыпаться, как с крейсеров и миноносок брызнул ответный огненный дождь ракет, и все они сразу зажгли свои огни и вынырнули из тумана.

На дредноуте «Авраам Линкольн» — Джек Райт. Он идет в каюту командира, сдерживая напор матросов, рвущихся за ним:

— Тише, товарищи, тише. Я пойду один. Все в порядке? Высокий рыжебородый матрос отвечает:

— У кают-компаний поставлены часовые. У аппаратной тоже.

— Хорошо. Погодите.

В каюте темно. Слышно дыхание спящего человека.

Джек Райт поворачивает выключатель. Вот этот белый старичок, свернувшийся клубочком на койке, — адмирал

Прайс, командующий эскадрой. Адмирал крепко спит и ничего не слышит. Джек Райт прикасается к его плечу:

— Адмирал, встаньте!

Старичок мычит что-то. Запах вина ударяет в нос Джеку Райту.

— Адмирал пьян как стелька. Тем лучше!

Джек Райт отбрасывает церемонии в сторону. Он трясет адмирала за плечо:

— Проснитесь же, черт возьми!

Адмирал просыпается и хлопает глазами. Он ничего не соображает. Но Джек Райт моментально возвращает его к сознанию. Он направляет револьвер на адмирала, и тот слышит нечто совершенно невероятное:

— Вы арестованы.

— Я? Что такое! Как вы... как вы здесь?

Старичок вскакивает с постели. Он смешон в своих узких, обтянутых вязаных кальсонах на сухоньких ножках.

— Вы арестованы, — повторяет Джек Райт. — Сидите на месте, иначе я пушу вам пулю в лоб. Где ваше оружие?

Да, этот длинный субъект не шутит. Оружие? Оно в ящике стола. Вот ключ.

— Одевайтесь.

— Зачем надо одеваться? — У адмирала трещит голова. Не разрешит ли ему мистер э... э... мистер коммунист остаться под арестом в каюте?

— Нет. Одевайтесь, адмирал.

— Ручается ли мистер э... э... мистер коммунист за жизнь адмирала? Команда озлоблена. Были строгости. Но ведь адмирал только исполнитель.

— Ручаюсь. До суда, конечно.

— До суда? До какого суда? Разве будет еще суд?

— Да, адмирал, будет суд. Вас будет судить рабочая власть. Ну, скорее же!

— Ого, рабочая власть! Вот уже куда заехали дела. — Адмирал никак не может попасть в свои брюки.

— Скорее! — торопит его Джек Райт.

— Позвольте! — вдруг останавливается адмирал. — Если бы флот был на вашей стороне, меня арестовали бы матро-

сы. Тут что-то не так. Я не повинуюсь вам. Докажите, что матросы на вашей стороне.

— Если хотите, извольте. Я не хотел предоставить матросам ваш арест, потому что они озлоблены. Это кончилось бы скверно для вас. Итак, хотите?

— Нет, нет! Я готов. Матросов не надо.

Джек Райт ведет адмирала в трюм, куда загнали остальной командный состав. Матросы, скучившиеся на палубе, встречают адмирала очень шумно:

— Ага, старая собака! Кончилось твое царство!

— Зачем комедию ломать? За борт этого хрена!

— Гип! Гип! — насмешливо приветствуют адмирала.

Четыре крейсера сигнализируют светом о своем нейтралитете и разводят пары, чтобы уйти в океан. Они не приняты на борт революционеров, но и не оказывают сопротивления. Джек Райт приказывает ответить сигналом:

— Нейтральных нет. Если сниметесь с места, мы пустим вас ко дну. Сдать командный состав «Аврааму Линкольну».

Шесть подводных лодок с красными фонарями приближаются к нейтральным крейсерам. На одном из них, на «Колумбии», вспыхивает огонь. Ядро с гудением летит в океан. К «Колумбии» присоединяются «Слава Республики» и «Франклин». Сразу режут несколько орудий, прорезая тьму светящимися ядрами.

Три крейсера против эскадры из тридцати вымпелов — это совершенно безнадежное дело. Но напакостить они могут. Джек Райт видит, что они уже напакостили: одно ядро попало в миноноску и снесло часть кормы. На транспортном судне рвется снаряд, и оно ложится на бок, а потом ныряет в океан.

На головном крейсере распоряжается чья-то умелая рука. Сверкает какой-то непонятный Райту световой сигнал. Подводные лодки перестраиваются и ныряют. Через несколько минут в воздухе прокатывается оглушительный грохот, огромный взмет воды вскидывается у борта «Славы Республики», она раскалывается пополам и окутывается дымом и пламенем.

«Франклин» и «Колумбия» замолкают и сигнализируют о сдаче.

Ровно в тринадцать часов генерал Драйв звонит в колокольчик.

Когда электрическая сигнализация не действует, приходится пользоваться допотопными средствами.

— Вестовой? Почему не адъютант? Ушел? Куда?

Офицер застрелился? Где? Когда? Кто? Подать сию минуту адъютанта.

Через несколько минут адъютант входит с передернутым лицом. Он раскрывает рот, чтобы сказать что-то, но генерал Драйв перебивает его:

— Если бы даже застрелился я — я сам! — порядок не должен быть нарушен. Ровно в тринадцать часов я ждал докладов: уничтожен ли Слэм артиллерией? Взят ли Манхэттен? Позовите капитана Крука.

— Капитан Крук застрелился, генерал.

— Застрелился? Он выполнил приказ?

— Капитан Крук застрелился потому, что не мог выполнить приказ. Артиллерия отказалась бомбардировать Слэм.

— Что? От-ка-за-лась? Пишите приказ. Расстрелять через десятого. Нет. Через пятого. Отчего же вы не пишете? Я же говорю вам: через пятого.

— Это невозможно, генерал. Артиллерия перешла на сторону красных.

— Рас-стрел...

Генерал Драйв срывается на полуслове. Холодный пот. У диктатора генерала Драйва крупные капли холодного пота на лбу. Он вытирает его рукавом и хрипло произносит:

— Тогда позовите... Дайте мне стакан воды. Благодарю. Позовите полковника Росмера.

С адъютантом происходит странная история. Его губы двигаются, но ничего не говорят. Шафрановая желтизна покрыла его лицо. Наконец он овладевает собою.

— Генерал, я боюсь сказать.

— Говорите. Говорите.

— Полковник Росмер... взят в плен.

— Ка-ак! — Генерал Драйв вскакивает с места и устремляется к адъютанту.

— Как вы сказали? Кто взят в плен?

— Полковник Росмер.

— Кем? Кем, тысяча чертей!

— Красными, генерал.

— А его полк? Где его полк?

— Полк Росмера сдался красным.

Сказав это, адъютант предусмотрительно отодвигается от генерала. Но генерал Драйв, втянув голову в плечи, маленькими торопливыми шажками выбегает из кабинета. Он бежит по лестнице вверх в свою комнату и запирает ее на ключ.

Чемодан. Где чемодан? Ах да, под кроватью. Военный сюртук? К черту сапоги со шпорами! Вон! Ну, ну скорее же! Вот оно, штатское платье, котелок, серые брюки навывпуск. Готово.

Генерал Драйв отпирает дверь и сталкивается в коридоре с адъютантом. Адъютант тоже в котелке, в брюках навывпуск и в штатском пальто.

В петлице адъютанта пылает красный бантик.

— М-м-ма! — мычит генерал Драйв и смотрит на красный бантик адъютанта. — Дайте мне кусочек этого... этой... Дайте же!

Адъютант снимает свой бант, рвет ленту вдоль на две узенькие ленточки и протягивает одну генералу.

— М-м-ма! — бормочет генерал Драйв, сунув ленточку в петлицу. — Вы не знаете, кстати, как выйти с черного хода?

Адъютант знает. Ключ от черного хода у него в кармане. Дальновидный молодой человек. Надо иметь его на примете и держаться подле него.

Но какая наглость, однако! Во дворе штаба адъютант заявляет генералу Драйву, что им не по пути и что генерал может его скомпрометировать, потому что адъютант человек маленький и незаметный, а генерала знает каждая собака по портретам...

ХІ

Электричество? Не может быть! Несомненный факт. Нити в электрических лампочках накаляются, наливаются огнем, все ярче и ярче и — вспыхивают. А вода? Посмотрим, как обстоит дело с водою.

Ундерлип самолично отправляется в уборную и собственноручно открывает кран. Полной струей! Ну, а газ? Из газовой трубки вырывается кислый запах газа. Но Ундерлип не доверяет обонянию и подносит спичку к горелке. Паф! Синеньким пламенем вспыхивает венчик вокруг горелки.

Но орудийный гул хотя и слабее, а все же грохочет. Винтовочная трескотня хотя и тише, но гремит. И все чаще строчат пулеметы на улицах. Ну, все придет в срок. Нельзя же все сразу.

Браво, генерал Драйв, bravo! Поставил-таки на своем. Пройдет еще пара дней, все уляжется, и тогда... О, тогда начнет работать электрический стул! Порядочно ему предстоит работы. Ундерлипу не жалко уделить генералу Драйву часть акций компании «Гудбай».

А чем это не идея? Отчего не уделить диктатору третью часть акций? Нет, это слишком много. Четвертую. Пятую часть. Да, пятую. Диктатор генерал Драйв — директор компании «Гудбай». Гениальная мысль!

А что слышно у Кингстон-Литтля? Ундерлип идет к фоторадиофону и поворачивает рычажок. Действует, черт возьми, действует.

— Соедините же немедленно, сию секунду.

— Алло!

На экране фигура в кепке. У кепки на лацкане пиджака рубинится значок: пятиконечная звезда. Почему? Если генерал Драйв, то откуда же пятиконечная звездочка?

— Станция? Соедините, 52, Ист, номер дважды восемьдесят.

Труба фоторадио чеканит:

— По приказанию Совета, этот абонент выключен, мистер.

— Совета? Какого Совета? Совета Рабочих Депутатов? И здесь, в Нью-Йорке, есть Совет Рабочих Депутатов?

— Да, мистер, в Нью-Йорке есть Совет Рабочих Депутатов. Извините, мне некогда.

Скажите пожалуйста, ему некогда! Какой-то Совет выключает по своему произволу абонентов! Скажите на милость! Генерал Драйв... Что же генерал Драйв, а?

Ундерлип чешет переносицу. Вот так задача. Свет есть, вода есть, газ есть, фоторадиофон действует, а генерал Драйв? Где же генерал Драйв? И почему Совет?

Он подходит опять к фоторадиофону. Он желает соединиться с редакцией «Вестника».

— Аллю! Готово!

— Кто говорит? Секретарь? Отлично! Выйдет ли завтра газета? Она выйдет сегодня, вечерним выпуском? Превосходно! Не распорядится ли мистер, чтоб экспедиция прислала вечерний выпуск «Вестника» мистеру Ундерлипу на дом. Что такое? Газета называется иначе? Как? Как?

— «Голос Нью-Йоркского Совета», мистер.

Опять Совета, чтоб он провалился! Секретарь обязан знать, что половина акций «Вестника» принадлежит Ундерлипу. Ундерлип требует... Мистеру тоже некогда? Тоже? Одну секунду. Ундерлипу нужен Редиард Гордон.

— Здесь нет никакого Редиарда Гордона.

— Я спрашиваю не «какого-то» Редиарда Гордона, а Редиарда Гордона, директора «Вестника».

— Мы не знаем никакого директора, мистер. Прощайте.

И секретарь без всякой церемонии разъединяет свой аппарат.

Нет, если на то пошло, Ундерлип будет говорить с самим диктатором Драйвом. И Ундерлип подходит к фоторадиофону в третий раз.

— Соедините с генералом Драйвом, — бросает он в приемник.

Кепка с красной звездочкой подскакивает и восклицает: «Ага! Ага!» И переспрашивает:

— Вы хотите соединения с генералом Драйвом?

— Да, да. Я говорю ясно: с ге-не-ра-лом Драйвом.

— Погодите одну минуту, мистер, сейчас.

Кепка уходит. Ундерлип торжествует. То-то! Совет, а генерал Драйв все-таки существует.

— Алло, мистер! Вы хотите генерала Драйва?

Вместо кепки на экране котелок. У котелка тоже красная звездочка.

— Ну да. Генерала Драйва.

— А вы знаете его адрес?

— Как же. Риверсайд, 42.

Лицо у кепки выражает полное разочарование.

— Этот адрес мы сами знаем. Генерал Драйв оттуда скрылся.

Генерал Драйв скрылся! Генерала Драйва разыскивают! Может быть, его разыскивает этот самый Совет?

Ундерлип бежит по кабинету. Взад-вперед, взад-вперед. Ундерлип совсем сбит с толку. Бежал диктатор, генерал Джордж Драйв.

И вдруг он останавливается, вслушивается. Внимание! Крайнее внимание! Орудия прекратили свой рев. Пулеметы умолкли. Винтовки... Нет, винтовки еще потрескивают. Поодиночке: там, тут и вот еще там. Ясно. Бой прекратился.

Необходимо ориентироваться. Ундерлип подходит к окну. Красные флаги. На всех домах. И над подъездом его собственного дома. Особняк миллиардера Ундерлипа — с красным флагом.

Ундерлип хлопает себя по лбу. Старый дурак! Свет! Электричество! Газ! Обрадовался! Это сделал не генерал Драйв, а Совет. Везде Совет. Даже над подъездом его собственного дома поработал Совет.

Сейчас он ворвется в дом Ундерлипа. Сию минуту! Ценности! Касса! Доллары! Доллары! Скорее, старый идиот, скорее... Конфискация, национализация. Пойдут теперь русские штучки. Скорее, скорее!..

Ундерлип набивает саквояж долларами, акциями, потом выбрасывает акции на пол и сует в саквояж золото. К черту бумаги! Что они теперь стоят? Потом, подумав немного, Ундерлип поднимает брошенные акции. Не век же будут красные. Не может этого быть. Он прячет акции в саквояж, захлопывает его.

Пальто. Цилиндр. Нет, цилиндр не годится. Надо достать кепку.

— Дик! Дик!

— Я здесь, мистер.

— Дик! Дик! — продолжает кричать Ундерлип, глядя на Дика и не видя его.

— Я здесь. Вот я.

— Ага! Дик, у вас есть кепки? Дайте мне скорее кепку.

— Есть, мистер, но она засалена и стара.

— Тем лучше, тем лучше. Дайте ее скорее сюда. Ундерлип нахлобучивает старую кепку своего слуги до самых бровей, поднимает воротник пальто и идет к черной лестнице. Но дверь заперта.

— Дик! Дик!

— Есть, сэр.

— Отоприте мне дверь.

— Вы хотите выйти на улицу?

— Ну да.

Он хочет выйти на улицу. Так себе, прогуляться. Тут нет ничего особенного. Полторы недели взаперти — это не шутка. Надо сделать моцион на свежем воздухе.

Дик качает головой. Почему мистер боится Дика? Ведь Дик служит у мистера целую вечность. Мистер хочет уехать?

— Может быть, может быть, Дик... Может быть, я уеду куда-нибудь. Например, в Южные Штаты. Там еще добрые старые нравы, Дик.

— Мистер не знает разве, что и Южные Штаты, и Северные Штаты, и все штаты в руках красных? Каким образом мистер уедет?

— По железной дороге. Дик. На юге меня никто не знает. Я там пережду, пока им придет капут. Отпирайте, Дик.

— Нет, по железной дороге не уехать. Все вокзалы заняты этой бандой. У них есть своя тайная агентура, и она рыщет, ищет, вынюхивает. Они на вокзалах, на станциях, на фоторадиостанциях.

— Да, да. И на фоторадиостанциях. Этот котелок, спрашивавший, не знает ли он адреса генерала Драйва... Значит... Тысяча чертей, значит! Выхода нет.

Ундерлип опускает голову и идет назад, в свой кабинет. Придут! Конфискуют! Национализируют! Король хлеба будет не богаче Дика. Нет, нет, нет! Этого саквояжа он не отдаст. Ни за что!

Прижимает саквояж к своему животу:

— Ни за что!

Однако истерику в сторону. Саквояж легче уцелеет без истерики. Ухо остро. Максимум сметки, минимум нервов, и тогда увидим, кто кого пересобачит. Мы еще увидим.

Ундерлип опускается вниз, в каморку Дика. Ему очень нравится каморка его слуги. Он не имел бы ничего против того, чтобы поселиться у Дика. На время, имейте в виду, на время! И если сюда придут, он не будет в претензии, если Дик будет обращаться с ним по-свойски. Можно даже на «ты». Насчет имени? Пусть Дик называет его... Ну, как? Ну, скажем, Сэмом, своим приятелем.

У Дика готов свой план. Мистер соизволит побыть в его комнате до темноты. Вечером мистер наденет вот это пальто и кепку. На всякий случай пусть мистер нацепит красную тряпку за лацкан. Все ихние недели красные значки и бантики.

У Дика в Бруклине живет сестра, чистильщица сапог, с позволения сэра. И если сэр позволит, то Дик вечером проводит его к своей сестре, чистильщице сапог, извините. У нее мистер может жить до тех пор, пока ему будет угодно.

Мистер благосклонно позволяет. Чистильщица сапог — это весьма и очень. Никому не придет в голову. Ни национализация, ни конфискация.

Король хлеба сидит до темноты у Дика. А потом король хлеба, в потертой засаленной кепке, в рыженьком узком пальтишке Дика отправляется в Бруклин к чистильщице сапог. Король хлеба, миллиардер!

ХИ

Во-первых, сестра Дика носит поэтическое имя — Энжелика, хотя она похожа на печеное яблоко. Во-вторых, она сдает комнаты жильцам. И, в-третьих, у нее жил один Сэм, сухой, как вобла, а теперь живут два Сэма, причем новый Сэм напоминает бочку. Вследствие этого последнего обстоятельства миссис Энжелика называет своего старого жильца Сэмом маленьким, а нового Сэмом большим.

Сэм большой больше пыхтит или барабанит по окну, чем говорит.

Маленький Сэм много кашляет и говорлив. Сэм большой любит одиночество, а Сэм маленький ни минуточки не может оставаться один и шныряет по соседям или бежит по собраниям. Благодаря своей общительности Сэм маленький немедленно наведлся к Сэму большому, как только тот поселился у Энжелики. Это немыслимое, совершенно фантастическое знакомство миллиардера с безработным произошло следующим образом.

Настоящий Сэм, Сэм маленький — впархивает без предупредительного стука в комнату Сэма большого, между нами говоря — Ундерлипа.

— С новосельем, мистер Сэм... Вас зовут Сэм, правда? Стало быть, мы тезки, приятель. — Сэм маленький протягивает руку Сэму большому.

Но Сэм большой ворчит:

— Не имею чести знать. И потом, мистер, отчего вы не постучались?

Сэм маленький пялит глаза на Сэма большого:

— А зачем стучаться? Разве вы делали фальшивые деньги? Или прохлаждались с милкой?

— Ничего подобного, мистер, но...

Сэм маленький добродушно смеется:

— Ха-ха! В другой раз я буду стучаться, если вам угодно. Вы, должно быть, безработный?

— М-м! В некотором роде.

— У меня безошибочные глаза, — хвастает Сэм маленький.

— Вы были лакеем в богатом доме. Верно ведь? А?

— Гм-м. Да. В богатом доме...

— И вас рассчитали?

— Д-да. Рассчитали.

Сэм маленький хлопает по плечу Сэма большого — хлебного короля!

— Ничего, дружище, не тужите. Теперь наша взяла верх.

Сэм большой морщится и отстраняет от себя руку Сэма маленького.

— Я не люблю, когда меня хлопают по плечу. И вообще... м-м-м. Не мешайте мне, мистер. Я занят.

— Он занят, ха-ха! Чем вы заняты, если вы без работы? Мух считаете? Что вы за ворчун такой, тезка? Первое время, когда я лишился работы, я тоже был зол, как цепная собака. Потом привык, обтерпелся. Право, мистер, плевать на кровать.

— Почему на кровать? Разве у нас не принято плевать в плевательницу?

— Вот чудак! — изумлен Сэм маленький. — Он принял это всерьез. Это же такая поговорка. С луны вы свалились, что ли? Ну, я пошел. Я к вам загляну еще, дружище.

Сэм маленький на бегу натывается на миссис Энжелику и, стоя одной ногой в сених, другой — за дверь, торопливо характеризует Сэма большого:

— Ворчун. Был холуем у богачей и задирает нос. Но в общем душа человек. Погодите, миссис Энжелика, я его отполюю... Бегу на митинг.

Сэм большой тоже излагает миссис Энжелике свои впечатления о Сэме маленьком, своем тезке:

— Нахал! Лезет в панибратство. Прошу избавить меня от этого... от этой ветряной мельницы.

Вечером Сэм маленький стучится в двери Сэма большого, но, не дожидаясь ответа, входит в комнату.

— Ну вот я и постучался. — Сэм говорит и внимательно, очень внимательно смотрит в лицо тезки, комкая в руках газету. — Скажите, какое сходство! — восклицает он.

— Сходство? — Сэм большой чувствует холодок, продирающий его кожу, и вследствие этого говорит медовым голосом:

— Знаете, дорогой тезка, я весь день скучал и очень рад, что вы пришли. Кстати, о каком сходстве вы упомянули?

Сэм маленький разворачивает вечерний выпуск газеты. На внутренней странице газеты огромный заголовок:

«Вот кто правил Соединенными Штатами».

Под этим заголовком четыре портрета: Лориссона, Бранда, Дэвис и Ундерлипа.

Сэм большой, нисколько не теряясь, находит, что этот — как его... Ундерлип чертовски похож на него. Капля в каплю. Прямо двойники. Неловкое положение однако быть двойником миллиардера, пившего кровь рабочих.

А все же Сэм большой находит утешение: разве Сэм маленький не видит, что это сходство нарушается тем, что Ундерлип, судя по портрету, был художнее Сэма большого.

Сэм маленький вполне с этим согласен. Ундерлип выглядит чуточку художнее.

— Но, во всяком случае, ваше сходство сущее несчастье, — добавляет Сэм маленький, — потому что всех этих господ разыскивают для предания суду. Пока разберутся, вы можете попасть в плохую историю, тезка.

Разыскивают? Будут судить? Конечно! Сэм большой всем сердцем, всей душой и всем... Чем еще? Словом, он вполне

разделяет это решение рабочего правительства судить миллиардеров, которые пили рабочую кровь. Да.

Но конкретное обвинение?

— Конкретное обвинение? Через полчаса откроется митинг, на котором Джек Райт расскажет, в чем провинились эти молодчики, — щелкает ногтем по портрету Ундерлипа Сэм маленький. — В двух шагах отсюда, мистер. Если хотите послушать, идемте со мною, вас пропустят.

— К-хе! К-хе! У меня, кажется, начинается грипп. Вечерний воздух, знаете... — Но неожиданно Сэм большой меняет свое решение. Чтобы быть в курсе дела, надо посмотреть опасности в глаза. Смелость, смелость!

Больше смелости — меньше риска.

Итак, Сэм большой пойдет на митинг. Но он завернет шею и рот в шарф. Грипп, знаете, вечерний воздух, знаете... Кстати, этот Райт... знакомое имя.

— Удивительный вы человек, тезка! Джека Райта знает вся Америка. Вождь. Член рабочего...

— ...правительства, — торопливо подхватывает Сэм большой. — Конечно, знаю. Я думал, другой Райт. Так это настоящий?

— Ну да. Настоящий. Тот самый.

— При гриппе опасно дышать холодным воздухом. Шарф достаточно широк. Завернемся так до подбородка. И еще вот так, до носа. И еще вот эдак — завернем нос.

Из-под шарфа слышно: «Бу-бу-бу».

Что это значит? Сэм маленький не знает, но его смешит вид Сэма большого и его бу-бу-бу.

— Ха-ха! Чудак вы этакий. Ну, пойдем.

Ундерлип, завернутый до глаз в шарф, смотрит на Джека Райта, стоящего на трибуне. Джек Райт говорит об Ундерлипе, который сидит в зале и слушает Райта. Раскопали-таки все до подноготной, бестии! Про Кингстон-Литтля? Откуда они знают, что Кингстон-Литтль получал деньги от союза трестов на вооружение патриотов? Что? Что? Кингстон-Литтль арестован и дал письменное показание? Ах, собака! Что это за агент полиции Пик? Ундерлип никогда не слышал этой фамилии. Кингстон-Литтль организовал при

помощи агента Пика покушение на Джека Райта? Да, да. Ундерлип припоминает, что Кингстон-Литтль действительно говорил ему, что необходимы деньги на кое-какое предприятие, связанное с выборной кампанией и с устранением красных от выборов. Была, кажется, какая-то бомба. Вот! Вот! Джек Райт рассказывает и о бомбе.

Сэм маленький толкает в этом месте речи локтем в бок Сэма большого:

— Это он рассказывает про меня. Ведь бомбу-то бросил я, а дал мне ее Кингстон-Литтль. Я был в то время патриотом.

— Бу-бу-бу, — бубнит из-под шарфа Ундерлип.

Редиард Гордон? Ай-ай-ай! Вечная память. Расстрелян, бедняга. Схвачен с оружием и был на месте расстрелян. Ну, ну, что вы знаете еще про Редиарда Гордона?

Джек Райт знает про Редиарда Гордона, что он был наемником хлебного короля, владевшего всей печатью Америки. Что же из этого следует? Разве это преступление — владеть таким солидным делом, как печать? Попробуйте-ка построить обвинение, Джек Райт...

И Джек Райт строит обвинение. Он обвиняет короля, сидящего тут же, что он сеял клевету и ложь при помощи подкупленных газет. Еще что? Король хлеба провоцировал в газете избиение рабочих Ку-Клукс-Кланом, высылки, аресты и даже казни.

Два Ундерлипа. Один кричит: так было, но так должно было быть, ибо то, что Райту кажется преступлением, миллиардеру казалось его правом и жизненной целью. Другой Ундерлип возражает: «Верно, были штучки!» И оба Ундерлипа вместе корчатся от каждого слова Джека Райта, как от ударов раскаленным металлическим прутом.

— Они подкупили сенат и палату и вызвали войну с целью наживы, — сечет накаленным прутом Джек Райт.

«Попробовал бы ты побыть в нашей шкуре и вести дело без войны», — возражает один Ундерлип.

«Действительно, был подкуп сенаторов, депутатов и членов правительства», — сознается другой Ундерлип.

А оба Ундерлипа вместе кутаются до глаз в шарф и, выбивая дробь зубами, бубнят:

— Бу-бу-бу!

Весь зал, как один человек, стучит ногами и палками о пол и требует:

— Смерть Ундерлипу, смерть Лориссону!

— Смерть Бранду! Смерть Дэвис!

— На электрический стул золотых пауков! — кричит над самым ухом Сэм маленький.

И когда они оба выходят с митинга, Сэм маленький, распаленный разоблачениями Джека Райта, вытаскивает револьвер, стреляет вверх и кричит:

— Вот так я выстрелю в ухо Ундерлипу, если он попадет-ся в мои лапы.

Эти портреты, эти разоблачения. Предательство Литтля. Надо наострить лыжи, пока не поздно. Надо бежать. На юг? Нет. На запад? Нет, нет. Куда? Куда же? В Америке нет места Ундерлипу.

У себя в комнате Ундерлип застаёт Дика. У Дика глаза на лбу и лицо мертвеца.

— Мистер, у нас был обыск. Много вооруженных людей. Забрали все бумаги. Искали вас. Меня допрашивали.

— Что же вы сказали? Что?

— Я сказал, что мистер уехал неделю тому назад в Виргинию.

В Виргинию? Правильно. Пока они будут искать Ундерлипа в Виргинии, он бросится в противоположную сторону.

— Дик, больше не возвращайтесь домой. Могут проследить меня.

— Слушаюсь, мистер.

— Идите сейчас и сыщите капитана моей яхты, Барраса. Найдите его и приведите ко мне. Скорее, Дик!

— Будет сделано, мистер.

Дик уходит искать капитана яхты, а Ундерлип мечется по комнате, и все время в нем кричат два Ундерлипа. И оба Ундерлипа, взятые вместе, бьются в тоскливом смертном страхе.

ХІІІ

Капитан Баррас крутит обеими руками свои усы цвета соломы и делает из них две острые золотые спирали. Окончив это занятие, которое он проделывает перед дверьми комнаты, он стучится в дверь.

— Войдите.

Король, все еще в шарфе до самых глаз, лежит на кровати. Он встает, раскутывает шарф. Поздороваться с Баррасом за руку? Конечно. Хлебный король снисходит и щекочет самолюбие капитана Барраса рукопожатием.

— Ну-с, Баррас. Нравятся ли вам эти дела? — снисходит король хлеба.

Капитан Баррас поминает черта и его бабушку. Потом спохватывается. Ведь он в высшем обществе. Мистер извинит моряка за некоторую неразборчивость выражений. Морская привычка, знаете.

Мистер извиняет. Больше того, мистер даже согласен, что черт и его бабушка более чем уместны. Решив, что тема предварительной беседы исчерпана, Ундерлип приступает к существу дела:

— В каком положении яхта, мистер Баррас? Конфискация, национализация, ха-ха! Ее еще не...

— Яхта в отличном порядке, — перебивает Баррас. — Им сейчас не до яхты. Они делают какие-то приготовления на военных судах. Поверьте, мистер, моему опытному глазу: эскадра готовится к боевой экспедиции.

— Достаточно ли на яхте топлива?

— На месяц хватит.

Еще один обходной маневр — и можно будет хватать быка за рога.

— Вы хотите, капитан Баррас, заработать пятьдесят тысяч долларов? Пятьдесят тысяч! — значительно подчеркивает Ундерлип.

— Пять-де-сят ты-сяч! — пучит глаза Баррас.

— Я сказал: пятьдесят тысяч.

— Кто же мне даст такие деньги?

Разумеется, для мистера пятьдесят тысяч все равно, что плюнуть, вот так — тыфу! Но капитан Баррас положительно не догадывается, чем бы он мог заслужить такое состояние.

Бык подставил свои рога. Ундерлип решительно хватает их руками.

— Сегодня ночью, капитан Баррас, я должен выехать в море. Сегодня же!

Капитан Баррас разводит руками и поминает чьих-то родителей. Ах, извините, мистер, это морская привычка... Но яхта не может выйти в море: из гавани не выпускают ни одного судна. Эти черти рыщут на сторожевых шлюпках и регистрируют суда.

— Регистрируют? Начинается. В России они тоже начали с регистрации. Во-вторых, Баррас? Ну, а если я скажу: сто тысяч долларов, Баррас? Сто тысяч! Половину денег сейчас. Ну, что вы скажете, Баррас?

Капитан Баррас снова приводит в порядок свои усы. Окончил. Встряхнул плечами. Ударил ладонью по столу.

— Кладите деньги, мистер.

Ундерлип отсчитывает пятьдесят новеньких бумажек по тысяче долларов. Капитан Баррас потирает ладонь о ладонь, глядит блестящими глазами на деньги и испускает звук, напоминающий ржание жеребенка.

Деньги в бумажнике Барраса. Мистер может положиться. Будет сделано чисто. Поворот по-военному — раз-два. До свидания.

Океан дышит туманом. Это очень хорошо. Уже в полдень зажигаются на улице электрические фонари. Ну, гуще, гуще!

Хлебный король без роздыха ходит по комнате: взад-вперед, взад-вперед. Поменьше нервов, побольше выдержи. Но нервы не слушаются. Он стучит зубами.

Океан все подбавляет и подбавляет тумана. Тускло пятятся фонари на набережной. У ног где-то внизу плещет волна. Ундерлип спускается по гранитным ступеням.

Дик ведет его дальше в туман, по оголенному от камня песчаному берегу. Город остался позади и пропал в молочной мути. Ундерлип недоумевает. Гавань справа, а Дик ведет его налево. Мистер знает, что капитан Баррас — человек с мозгами. Он перевел яхту в сторону от гавани на мелкое место, под предлогом ремонта трюма судна.

Ундерлип ничего не видит. Был туман и есть туман.

Где же яхта?

— Да вот она, мистер. Осторожнее, оступитесь.

Дик берет его под руку. Ведет по невидимому трапу на невидимую яхту. Только ступив на палубу, Ундерлип видит тусклый огонек, освещающий спуск в каюту, и слышит голос Барраса.

— Мистер. Идите в каюту, ложитесь на койку и, не зажигая света, постарайтесь заснуть. Все сделается как надо.

Легко сказать «постарайтесь заснуть». Пот? Кажется, это называется цыганским потом. Цыганский или не цыганский, но при телосложении короля хлеба недолго и до удара. Но выдержка, мистер, максимум выдержки, минимум нервов! Койка опускается изголовьем и поднимается в ногах. Заглушенно шипит пар. Яхта дрогнула. Тронулась, пошла тихим ходом.

Почувствовав в каюте толчки морской качки, Ундерлип соображает, что яхта вышла в открытый океан, и поднимается на капитанский мостик. Он стоит рядом с капитаном Баррасом, и ему кажется, что у яхты слишком тихий ход.

Если перед носом лошади повесить клок сена, она будет прибавлять ход в погоне за убегающим сеном. Х-ха! Теория Кингстон-Литтля, который был бы, в сущности, хорошим малым, если бы не оказался предателем. И если эту теорию попытаться применить сейчас...

— Капитан Баррас. Эта яхта будет ваша, если мы в четырехдневный срок доберемся до Англии.

— Значит, мы отправляемся в Англию, мистер? Ведь я не знал до сих пор маршрута. Я гнал яхту в открытый океан, по

указанию вашего слуги, который тоже не знает маршрута.

— Итак, Баррас, еще пятьдесят тысяч и яхта.

— Полный ход! — командует весело Баррас.

— Максимальный ход! — суфлирует ему на ухо Ундерлип.

— Наибольший ход! — послушно кричит в рупор капитан Баррас.

Позади яхты туман снизу засеивается огнями. Ровные огоньки внизу в два и три яруса. Огни наверху на небе. Белая расширяющаяся дорожка, ломаясь в тумане, бежит взад, вперед, в сторону, встречается с другой светлой дорожкой, перекрещивается с нею, отскакивает от нее и убегает в сторону.

Три, четыре, пять таких дорожек чертят по туману светлые зигзаги и выдерживают из него зеленоватые холмы воды с пенным кружевом на верхушках.

— Откуда это? Что это?

— Эскадра, а наверху воздушный флот, — отвечает Баррас. — Как бы не напороться. Черт их несет.

XIV

Черт и его бабушка играют роль хороших шпор для мыслительных способностей капитана Барраса. Упомянув о них и еще о целом поколении чертей по восходящей и нисходящей линиям, капитан Баррас ощущает значительное прояснение мыслей.

Эскадра и воздушный флот идут позади, а яхта впереди. Эскадра, несомненно, нагонит яхту, и тогда — дело табак. Но зато совершенно невероятное дело, чтобы яхта сумела нагнать эскадру. Итак, яхта должна, быть позади, а эскадра впереди.

Этот стратегический план капитан Баррас излагает Ундерлипу, и тот вполне признает, что яхта должна быть позади. Но хлебный король находит, что нет ничего общего между яхтой и блохой, ибо яхта не умеет прыгать.

Блоха? Какое отношение имеет блоха к стратегическому плану капитана Барраса? Мистеру угодно шутить, а капитану Баррасу не до шуток. Блоха блохой, но яхта должна быть позади.

— Но позвольте, капитан! Ведь мы же не можем перескочить через эскадру. Значит, надо развить наибольшую скорость и убежать от эскадры.

Первое: наибольшую развить нельзя, потому что она и так наибольшая. Раз манометр показывает максимум давления, значит, еще один нажим — и котлы взорвутся. Второе: яхта должна очутиться в тылу флота и никаких чертей!

Пока капитан Баррас развивает свои стратегические планы, эскадра глотает расстояние, отделяющее ее от яхты. Туман наливается шумом винтов, фырканием моторов и жужжанием пропеллеров. В двух десятках саженей от яхты, наверху, несется ярко освещенный гигантский корабль. Его лодка с тремя кабинами режет туман белыми спицами лучей, отбрасываемых электрическими рефлекторами с бортов, килевой части и кормы. На дирижабле гремит военная музыка, расплываясь и заглушаясь в тумане.

После нового комплимента черту и его близким родственникам в голове у капитана Барраса происходит полное прояснение. Все гениальное — просто. Яхта не может перескочить через фронт эскадры. Яхта не может идти быстрее военного судна. Ни вперед, ни назад. И не надо. Яхта скользнет вдоль развернутого фронта эскадры до ее фланга и нырнет в тыл.

Ундерлип выражает опасение, успеет ли яхта обогнуть эскадру? Не нагонит ли ее эскадра раньше, чем она домчится до фланга?

— Мы находимся не в середине линии фронта, а ближе к левому флангу, — выказывает свою математическую сметку капитан Баррас. — Расстояние между яхтой и эскадрой примерно вдвое больше, чем расстояние от яхты до левого фланга. Самое быстроходное военное судно — вдвое быстрее яхты. Значит, пока флот доберется до того места,

где мы находимся сейчас, мы будем у крайнего левофлангового вымпела.

— Браво! Браво! — Это одобрение Ундерлипа есть тоже нечто вроде клок сена перед носом лошади. Самолюбие — это самолюбие! Ундерлип играет на самолюбии капитана.

Мистер не должен мешать капитану. Мистер должен хранить молчание. Мистер должен...

— Словом, идите в каюту — и никаких чертей!

Выказав полное непочтение к Ундерлипу, капитан Баррас командует:

— Стоп! Полный ход вперед! Максимальный ход!

Еще! Поддайте еще! Что? Манометр показывает? Плюньте на манометр. Пусть себе показывает. К черту и его бабушке!

Котлы гудят от напора. Стрелка манометра показывает наивысшее давление. Винт бешено гудит. Вокруг судна клочечет. Яхта скользит вдоль вытянувшихся ровной ниточкой огней эскадры, как стрела. Линии эскадры ближе. Луч прожектора подбирается к яхте. Сейчас он вырвет ее из темноты и покажет ее наблюдающим дозорным судам. Несколько сажен осталось добежать лучу. Яхта взбирается на гребень огромной водяной горы и скользит вниз, по спуску этой горы, в водяную складку между двух валов. И луч прожектора, сломавшись на складках волн, укорачивается и не добегает до яхты, разбившись на тысячи огненных спиралей. Над яхтой реет целый рой летательных машин, невидимых в тумане, но наполняющих воздух сплошным гулом моторов и пропеллеров. С правого борта яхты ясно и четко видны уже округленные бусинки огней и черные надвигающиеся на нее стеною горы броненосцев. Вот-вот эта стена обрушится на маленькую яхту. Она уже обдаёт ее своим шумным дыханием, уже кутает ее в пелену дыма, идущего из десятков труб. Почти у самого борта крайнего левофлангового судна яхта делает поворот под прямым углом; она около часу бежит по прямой линии, пока не тонут в тумане последние огни эскадры и не гложут последние ее вздохи. Тогда капитан Баррас приказывает ти-

хий ход, поворачивает опять под прямым углом, и яхта бежит в тылу эскадры.

Капитан Баррас зовет помощника и ставит его на свое место. Спускаясь с капитанского мостика, он закручивает свои золотые усики и, вполне довольный собой, произносит:

— То-то, семь чертей и бабушка!

Кажется, он обошелся несколько неучтиво с мистером? Мистер извинит? Морская привычка, знаете.

Ундерлипнисколько не обижен. Он ценит морские познания. Благодарное рукопожатие. Признательное выражение глаз.

Ундерлип верит в свою звезду. Чувство блаженства, наполняющее его душу вследствие того, что его шкура уцелела, приводит его в прекрасное настроение. Все вернется. Все вернется. Звезда Ундерлипа это не какая-нибудь жалкая копилка, а звезда. Бодрый оптимизм окрыляет Ундерлипа. Он был королем. Он есть король.

Он будет королем и умрет им. Дри-дри-дри-дри. Дри-дридим.

На четвертые сутки, утром, Ундерлип проснулся в каюте от ощущения чего-то нового, чего прежде не было. Спустив ноги с койки, он некоторое время старался припомнить, что произошло нового. Ничего. Да нет же, что-то новое в плеске волн о борта яхты, в дыхании машины, в ударах винта. Какой-то новый звук, похожий на то, как будто выколачивают ковры. Глухие мерные удары. Выстрелы, что ли? Да, верно, выстрелы. Орудийная пальба...

И, быстро одевшись, Ундерлип вышел на палубу. Правильно. Канонада. Бьют большие морские орудия.

Впереди, над вздувшейся, как гора, зеленой грудью океана, на тонкой, розовеющей ниточке горизонта, всходил огромный красный шар солнца. И на медном диске солнца курчавились дымки. Они таяли, опять всплывали и опять таяли, — клубистые дымки с шапками завитков наверху, точно грибы из огня и дыма.

Ундерлип взбирается на капитанский мостик. Смотрит в морской бинокль. Долго и внимательно. Темные продольные полосы с хвостами дыма суетятся на горизонте и выбрасывают пламенные комочки, выплевывают огненные струйки.

— Слава богу. Война началась. Она вернет Америке закон, правительство и порядок.

— Вернет, мистер. Дай бог!

— Дай бог!

— Только я думаю вот что: нам надо переждать. Соваться в эту кашу...

— ...неблагоразумно, — подхватывает Ундерлип.

Мистер поставил условием четыре дня. Сегодня четвертые сутки. Если бы не бой, который, дай бог, вернет Америке правительство, закон и так далее, капитан взял бы финиш. Но ведь этот бой не входит в расчет?

Ундерлип считает приз за капитаном. То, что помешало ему выполнить условие, есть форс-мажор. Что такое форс-мажор? Это стихия, случай, капитан. В данном случае форс-мажор играет на руку Ундерлипу, и он ничего не имеет против...

Раз форс-мажор не меняет условий, капитан Баррас ничего не имеет против форс-мажора. Он с легким сердцем кричит в рупор:

— Стоп! Тихий ход!

— Минимальный ход, — повторяет Ундерлип.

К вечеру канонада затихает. Дымки перестают всплывать на горизонте. Вместо дымовых грибков по горизонту тянутся черные длинные хвосты дыма, идущие из труб судов.

Эти хвосты становятся длиннее. Черные продольные полосы на горизонте вырастают в сигаровидные силуэты. Капитан Баррас долго не отрывается от бинокля. Потом восклицает:

— Вот те на! Семь чертей с бабушкой!

— В чем дело, капитан?

— Дело дрянь, мистер. Красные вымпела. Отчего они красные, если они английские?

— Красные? Быть не может!

Ундерлип глядит в бинокль и убеждается в том, что вымпела действительно красные.

А тем временем капитан, определив их число, забывает про родню черта и растерянно произносит:

— Их, этих красных вымпелов, пятьдесят с чем-то. А в нашей эскадре их было тридцать. Откуда еще двадцать? Неужели и английские?

И, не дожидаясь ответа Ундерлипа, капитан Баррас вторично прибегает к «штучке».

— Налево! Полный ход!

— Максимальный! — суфлирует Ундерлип.

— Наибольший! — покорно повторяет капитан.

Яхта мчится на всех парах вдоль фронта двух соединенных эскадр с красными вымпелами — английской и американской.

XV

Яхта Ундерлипа скользит вдоль приближающейся линии эскадры. Но на этот раз фронт вдвое длиннее, и капитан Баррас в отчаянии машет рукой:

— Ничего не выйдет, мистер. Теперь нам из ловушки не выйти.

Ундерлип клокочет. Как? Переплыть океан, уйти от красных для того, чтобы попасть в пасть красным?! Невозможного для Ундерлипа не существует. Сколько будет стоить? Сколько? Полмиллиона? Ундерлип платит полмиллиона долларов за свою жизнь! И за полмиллиона невозможно? Ни за какие деньги невозможно? Этого не может быть. За деньги все можно.

Ундерлип в полном недоумении. Он не может себе представить, что деньги не всегда имеют силу. Он знает, что они всегда — сила. Король хлеба выглядит мокрой курицей.

И все же звезда Ундерлипа горит. Совершенная случайность. В самую последнюю минуту, когда флот находится в

какой-нибудь полумиле расстояния от яхты, к небу взлетает яркая ракета. Это, по-видимому, сигнал. Фронт эскадры разрывается на две части. Обе половины перестраиваются треугольниками. Основания треугольников друг к другу. Вершины врозь. Обе эскадры начинают удаляться друг от друга: одна на север, а другая на юг. Между удаляющимися эскадрами образуются ворота. Они становятся шире и шире, и яхта старается проскочить через эти ворота.

— Максимальнейший ход! — диктует капитану Баррасу Ундерлип.

— Надо пролететь! — кричит он.

— Наоборот, надо проползти, — противоречит капитан Баррас.

— Но почему?

— Потому...

— Яхта пока еще принадлежит мне? — кричит Ундерлип.

— Я требую точного ответа: почему?

Капитан Баррас вторично забывает об уважении к королю, кричит что-то нелестное о его родителях и делает свое дело. Яхта ползет, как черепаха, и куда она ползет, обе эскадры пропадают из вида.

Ундерлип чувствует себя виноватым. Да, Баррас был прав. При первой встрече с эскадрой надо было выиграть время. Теперь надо было выиграть пространство. Пока яхта ползла, ворота ширились, эскадры отходили друг от друга.

— Простите, капитан, я погорячился.

— Простите, мистер, я тоже погорячился.

— Вы отличный стратег, капитан Баррас.

— О, да, я... Вы что-то упомянули о полумиллионе долларов, мистер.

— Ха-ха! Это было в горячке, капитан. Полмиллиона. Знаете ли вы, что это за сумма?

Капитан Баррас зеленеет и выпаливает:

— Когда я обидел ваших родителей, мистер, то это не было в горячке! Вот! И больше ничего!

И это он говорит Ундерлипу! Королю! И поворачивается к нему спиной. К королю! И золотой король молчит. Глотает пилюлю и молчит. Потому что в этом положении он,

по правде сказать, номинальный король. Он в руках капитана Барраса.

Ундерлип находит утешение в созерцании природы. Полная луна висит над краем моря и разбрасывает по воде тысячи серебряных кружочков. Огненная россыпь звезд. Небо ясно. Ундерлип ничего не имеет против того, что туман растаял. Он опять уверен в своей звезде. Она горит и будет гореть.

Что это за столбик выскочил из воды в нескольких саженьях от яхты? Выскочил и растет. Поднимается над водой. Вода вокруг столбика светлеет. Белое овальное пятно света.

— Перископ подводной лодки, семь чертей! — восклицает капитан Баррас.

Он забыл, что только что оказал величайшее непочтение к Ундерлипу, оборачивается к нему и, как будто ничего между ними не было, произносит в тревоге:

— Опять.

Ундерлип не понимает его. Что опять?

— Опять надо удирать во все лопатки.

И, не теряя времени, кричит в рупор:

— Задний ход.

Увидев перископ, Ундерлип требует:

— На всех парах, капитан Баррас. Полмиллио...

И спохватывается. Довольно легкомыслия. Крайности всегда вредны. Во всех случаях.

Из-под воды, образовав водяную воронку, выныривает покаты́й остов подводной лодки. Крышка люка откидывается. На мостике четыре человека в офицерской форме.

Они, несомненно, увидели яхту. Они смотрят на нее. Ундерлип, что слышно со звездой? Она закатывается? Что?

— Полмилл... Капитан Баррас! Что же это будет? Максимальный ход.

— Поздно, мистер. Даже за целый миллион. Не могу. Невозможно.

Один офицер складывает у рта ладони трубой и кричит:

— Чья это яхта? Наша?

— Ихняя! Кричите: ихняя! — подсказывает Ундерлип.

— Ваша! — послушно кричит в переговорную трубу капитан Баррас.

Офицеры о чем-то спорят, горячо жестикулируя.

И опять один из них, складывая руки трубой, кричит:

— У вас американский флаг. Кто вы? Красные или белые?

— Кем нам лучше быть? — спрашивается капитан у Ундерлипа.

— Никакие.

— Никакие! — кричит в трубу капитан.

— Куда вас несет? — долетает с лодки.

— В Англию! — отвечает капитан и, спохватившись, спрашивает Ундерлипа:

— Так я сказал?

Но Ундерлип не успевает высказать свое мнение.

С лодки гремит ругательство.

— Мерзавцы! Почему вы маскируетесь? Вы красные. Мы пустим вас ко дну.

Ундерлип вырывает трубу из рук капитана Барраса и кричит самолично:

— Мы не красные! Не красные! Полмиллион... Мы просто жители. Мирные. Уверяю вас, совершенно мирные.

— Тогда зачем вас черт несет в Англию? — спрашивает офицер. — В Англии — красные.

Вот так история! И в Англии!

— Мы не знали! — гремит переговорная труба. — Уверяю вас. Если джентльмены не имеют худых намерений, то я объясню.

Офицеры опять жарко спорят, размахивая руками.

Потом трое берут под козырек, а четвертый отвечает им. Один из офицеров спускается в люк. Лодка приближается к яхте, стучается об ее борт.

Ундерлипу кажется, что подводная лодка буравит яхту. Вот-вот яхта начнет тонуть. Он забывает всякую осторожность.

— Джентльмены. Ради бога. Я, Ундерлип, глава треста «Гудбай», обещаю... Могу моментально выдать чек. На ка-

кой угодно банк. Полмиллиона долларов. Миллион.

Офицеры переглядываются и смеются.

— Не смейтесь, джентльмены. Уверяю вас. Ундерлип не бросает своих слов на ветер. Чек на предъявителя. Честный чек.

— Мистер, — говорит, смеясь и сильно картавя, один из офицеров, похожий на кильку. — Я слышал о вас. Успокойтесь. Нам не надо ваших чеков.

— Что же надо, джентльмены? Что? Авария? Лодка повреждена? Джентльмены просят взять их на борт яхты? Только всего? Уф-ф! Пожалуйте... В высшей степени пожалуйста.

— Его вы-со-че-ство! Не может быть! Сам его высочество. Ах!

Ундерлип расшибается в лепешку перед его высочеством... Он счастлив принять на борт своей скромной яхты, счастлив лицезреть, счастлив вообще, в частности и во всех отношениях. Его вы-со-че-ство!

В его речи к высочеству улетучиваются все слова и остаются одни восклицательные знаки.

Совершенно верно. Его высочество. Все лицо ушло во внушительный нос. Лба совсем нет. Волосы растут над самыми глазами. Верхняя губа высокомерно выпячена. Грудь тоже выпячена. Тонкие птичьи ноги в рейтузах. Его высочество!

Его высочество изволит смотреть на Ундерлипа августейшими глазами, двумя пустыми бусинками. И изволит говорить...

Царь небесный! Флот восстал. И армия. Американский флот содействовал. Американская воздушная эскадрилья помогала. В Лондоне — Совет. Ай-яй-яй!

Сообщив эти новости извергающему восклицания Ундерлипу, его высочество высыпает на ноздь из золотой табакерки горку белого порошка и втягивает весь порошок дочиста в свой августейший нос. Его высочество изволит нюхать кокаин.

Адъютант его высочества — лорд Рой. Настоящее веретено.

Наверху узок, посередине широк, ниже живота опять узок. Веретено, говорящее дамским голосом.

— Сэр Ундерлип, яхта направится на запад.

Его высочество поправляет:

— Яхта держит рейс на запад.

Взмах руки адъютанта лорда Роя к козырьку фуражки:

— Виноват. Держит рейс... Ваше высочество изволили выразиться вполне правильно.

На запад? В Америку? Но в Америке та же комедия, Советы. Национализация. Социализация. «Восстань, проклятым заклеянный»... Нет, нет!

Его высочество задумывается на минуту. Поднимает руку. Чертит в воздухе ломаную линию. Лорд Рой следит за движением августейшего пальца. Ундерлип с напряженным вниманием следит...

— Гибралтар-Суэц-Австралия, — не произносит, а вещает его высочество.

— Гибралтар-Суэц-Австралия, — вторят вместе лорд Рой и офицеры.

Ундерлип ничего не понимает в этой кабалистике, но одобрительно кивает головой.

— Распорядитесь, — обращается к Ундерлипу лорд Рой.

Ундерлип устремляется вперед. О чем распорядиться?

— Рейс яхты, — поясняет лорд Рой.

— Ага! Яхта направляется через Гибралтар и Суэц в Австралию. Идея! Австралия — это на краю света. Советы туда не доберутся. Но Гибралтар? Что, если и над Гибралтаром красный флаг?

Поднявшись на мостик к капитану Баррасу, Ундерлип говорит:

— Гибралтар-Суэц-Австралия.

Капитан Баррас пожимает плечами и отворачивается.

— Вы поняли? — спрашивает Ундерлип.

— Понять-то я понял, но яхта дальше не пойдет.

— Как? Что значит не пойдет?

— Я исполнил договор, мистер. Платите остальные деньги. Яхта моя, я причаливаю к берегу.

— Позвольте, капитан, яхта пока принадлежит вам только юридически. Ундерлип проводит в воздухе подчеркивающую ломаную линию. — Ю-ри-ди-че-ски. Но не факти-че-ски.

— Плевать я хочу на все эти крючки. Мистер Ундерлип, яхта моя.

Ундерлип прибегает к сильному средству:

— Знаете ли вы, кто находится на борту яхты? Его высочество. Сам. То есть не сам, а со свитой.

— Знаю, но яхта моя, и я хочу ехать туда, куда хочу.

— Куда же вы хотите, капитан? Может быть, по пути?

— Совсем не по пути, мистер. Я держу рейс в Бразилию. Там еще можно делать дела.

— Бразилия. О, еще лучше.

Ундерлип спускается вниз. Его высочество уже изволит почивать в каюте. Лорд Рой выслушивает Ундерлипа. Мотает остроконечной головой и чертит пальцем ломаную линию.

— Гибралтар-Суэц-Австралия. Его высочество не меняет своих решений.

И опять поднимается Ундерлип к капитану.

— Полмиллиона, капитан Баррас, в любом банке.

— Знаем мы эти штуки! — возражает капитан. — Пишите именной чек.

Ундерлип вздыхает, вытаскивает из кармана бумажник, а из бумажника чековую книжку и пишет вечным пером чек на имя капитана Барраса.

— Я желаю получить деньги в Мельбурне, — диктует капитан.

Ундерлип беспрекословно пишет чек на банк в Мельбурне.

Но прежде чем передать чек капитану, он ставит условие:

— Мы должны успеть проскочить через Гибралтар. Максимальный ход.

Капитан Баррас прячет чек в карман и командует:

— Полный ход.

XVI

У его высочества вышел весь кокаин. Он мечется в каюте в тоске и требует у своего адъютанта лорда Роя:

— Достаньте мне кокаин.

Лорд Рой разводит руками:

— Это совершенно невозможно, ваше высочество.

— А я не могу без кокаина. Я умру без кокаина! — останавливаясь перед лордом Роем, твердит его высочество.

— Вы должны достать кокаин. Кокаин!

— Ваше высочество...

— Я знаю сам, что я «ваше высочество». В этом мало утешения. Что я стану делать без кокаина? Кока-ин!

Он вцепляется в лацканы сюртука лорда Роя, трясет его и стонет.

— Кокаин! Одну понюшку кокаина!

Лорд Рой попытается. Может быть, в аптечке яхты... Хотя едва ли...

— Я не хочу знать «едва ли», — кричит его величество. — Кокаин должен быть. Одну понюшку!

Лорд Рой роется в аптечке. Кокаина на яхте нет. Из каюты его высочества доносится рев:

— Одну понюшку, скоты! Всего одну!

Ундерлип все время стоит на мостике. Он заплатил деньги. Большие деньги. Яхта должна проскочить через Гибралтар. Иначе — за что же он заплатил деньги?

— Вы получили чек, капитан Баррас. Вы обязаны.

— Мистер, у вас существует «юридически» и «фактически». У меня этого различия нет. Что сказано — то сказано.

— Но яхта идет недостаточно быстро.

— Она идет со всей возможной скоростью.

— Дайте максимальную скорость.

— Котлы перегреты. Если я дам максимальную скорость, произойдет взрыв.

Они спорят и не замечают вымпелов на горизонте.

Да, два вымпела. Приближаются. Гудит сирена.

Его высочество взбегает на мостик. Он в бешенстве. Цепочка желтоватой пены сбегает с уголка его губ. Его высочество хватает капитана Барраса за шиворот и трясет его:

— Мерзавец! Разве ты не видишь военные корабли? Где твои глаза?

Капитан Баррас без всяких придворных церемоний толкает его высочество кулаком в грудь. Его высочество! Потом нагибает, как бык, голову, выставив вперед два кулака, вертит ими перед носом его высочества. Мистеру высочеству угоден бокс? Ну-ка! Капитан Баррас покажет высшую тренировку.

— Потому что я не люблю свинства, семь чертей и бабушка. Даже от высоких особ.

Его высочество сжимается. Втягивает голову в плечи. Прикрывает голову обеими руками. Юрко скользит за широкою спину Ундерлипа. И выпрямляется.

— Сэр! Приказываю вам вышвырнуть этого негодяя за борт.

Негодяй с сердцем плюет через перила мостика и становится у рулевого колеса. Нуль внимания на его высочество.

Ундерлип осторожно под руку берет его высочество и ведет его вниз. Его высочество не должен показываться на палубе днем. По морю шныряют суда. И не должен вступать в пререкания с этим грубияном. Он все может. Он не знает тонкостей.

У дверей каюты его высочество прикасается к пуговице Ундерлипа.

— Нет ли у вас кокаина, мистер?

— Кокаина?

— Одну маленькую понюшечку.

— Кокаина у меня нет, ваше...

— Вы обязаны достать кокаин.

Два военных судна проходят не более чем в ста саженях от яхты.

Лорд Рой смотрит в бинокль.

— Португальские крейсера, — говорит он. — Красные вымпелы.

— Тоже красные вымпелы. Если они красные, то, значит, и в Португалии...

— Значит, — цедит сквозь зубы лорд Рой.

Ундерлип направляет бинокль на крейсера. На борту одного он видит огромный плакат. От носовой части до кормы. Красные буквы четко кричат о чем-то.

— Прочтите, лорд, что там написано. Я не знаю языка.

«Да здравствует Федерация Приатлантических Пролетарских Республик», читает лорд Рой.

Ундерлип подсказывает, как рыба на горячей сковородке.

— Уже!

— Должно быть, уже, — цедит лорд Рой.

Американский флаг! Яхта все еще идет под американским флагом.

— Сорвать флаг! — кричит Джон Хайг.

— Поднять красный флаг, — подсказывает лорд Рой.

Ундерлип раздумывает. Поднять ли красный флаг?

А вдруг еще не совсем кончено.

— Лучше никакого, — решает он.

— Совершенно правильно, — соглашается лорд Рой. — Пока лучше никакого...

Сумерки. Воздух густеет. На небе зажигаются пушистые огоньки. На морщинках океана прыгает рыбачья шхуна. На ней маячит огонек костра, разложенного на носу. В красном озарении фигура рыбака.

Необходимо ориентироваться. Ундерлип настаивает на этом. Без оглядки идти рискованно. А вдруг там тоже... А?

Лорд Рой кричит в переговорную трубу: рыбаку хорошо заплатят, если он на минуту причалит к яхте. Рыбак отвечает односложным горловым звуком. Парус на шхуне поворачивается, вздувается. Огонек растет. Шхуна ударяется о борт яхты.

Рыбак, расставив широко ноги, стоит на палубе.

В белой пене волос, усов и бороды обугленное солнцем лицо. В белых зубах зажата глиняная трубка. Глаза две маслины. Вынув трубку изо рта, он бросает комок горловых звуков.

— Что он говорит? Что такое он рассказывает? — Ундерлип видит побелевшие лица его высочества и лорда Роя.

— В Португалии дело дрянь, вот что он говорит! — бросает лорд Рой.

— В Испании? — рыбак скалит свои белые зубы. — Ха-ха! Там тоже началась драка. Наша армия с красными флагами и с музыкой перешла границу. Поезда с пушками идут из Португалии в Испанию. Война, судари! Король? На рынке говорили, что он удрал.

— Что он говорит?

— Он говорит, что в Испании та же история. Вот что он говорит! — кривя рот, сообщает лорд Рой.

— Гибралтар? — Рыбак ничего не знает о нем. На шхуне у его сына есть газета. В газете все досконально пропечатано.

Ундерлип втискивает в руку рыбака десять долларов.

— Газету. Моя хочет газету, — коверкая язык и думая, что так рыбаку понятнее, кричит Ундерлип.

Серый лист бумаги дрожит в руках Ундерлипа. Буквы танцуют перед глазами.

— Я ничего не понимаю на этом собачьем языке, — злится Ундерлип.

Лорд Рой берет газету. Читает и переводит.

— Да, да, рыбак сказал правду. Португальские войска перешли границу и двинулись на Мадрид. В Мадриде уличные бои. В Париже... Что тут сказано о Париже? Правительство эвакуировалось. Куда? В Бордо. В Париже, в Лионе и Марселе идут сражения. Тулон бомбардируется флотом. А на чьей стороне флот? Тоже.

Но, может быть, Германия? Ундерлип требует. Найдите здесь о Германии.

Маленькая заметка. Германская красная армия перешла Рейн. Крас-на-я! Стало быть, она идет на помощь. Стало быть,

черт возьми! В Европе нет ни одного тихого угла. Стало быть. Нигде в Европе. Нигде в Америке.

— Ваше выс...

Его высочество плачет. Из августейших глаз льются августейшие слезы. У его высочества пляшут губы.

— В... б... б... я... боюсь! Спрячьте меня... Скройте меня! Они меня повесят...

Его высочество совсем скисло, и лорд Рой уводит его под руку в каюту. Там он поит его высочество валерьянкой и укладывает его спать. Когда, спустя некоторое время, лорд Рой выходит на палубу, он держит в руке что-то, струящее разноцветные ручьи огня. С этими переливающимися огнями он взбирается на мостик капитана Барраса.

— Вы видите это? — показывает он игру огней капитану Баррасу.

— Бриллиант, — отвечает капитан. — Однако какой огромный, семь чертей! Извините, морская привычка...

— Вы получите этот бриллиант.

— Я?

— Вы. Этот бриллиант — фамильная ценность его высочества. Вы получите его, капитан Баррас.

— Хо-хо! Королевский бриллиант. Куда я денусь с ним? Меня упрячут с ним в тюрьму. То есть не с ним. Бриллиант отберут, семь чертей.

— Его высочество пишет дарственный акт.

— Акт — это хорошо. Ю-ри-ди-че-ски. Итак, я принимаю, сэр.

— Но вы должны проскочить, как тень, мимо фортов в Средиземное море. Вы должны провести яхту через Суэц. Вы должны доставить его высочество невредимым в Австралию.

— Должен, должен... Сколько вы насчитали долгов, семь чертей. Впрочем, у меня есть у самого дело в Австралии. — Капитан Баррас вынимает чек и показывает лорду Рою. — Скажите, лорд, это вполне ю-ри-ди-че-ски?

— Вполне.

— Давайте ваш камень.

— Вы получите у берегов Австралии, капитан.
— Гм! У берегов Австралии. Если вы не надуете. Смотрите!
Капитан Баррас крутит кулаками в воздухе.
— Высшая марка. Многолетняя тренировка, сэр.
Но лорд Рой уже спускается с мостика и не видит высшей марки. Капитан Баррас громко хохочет.
— Хо-хо-хо! Этак они станут нищими, а я — королем. Хо-хо-хо!

XVII

Ундерлип потерял все. Он был королем, королем хлеба, а теперь он скитается по морям и не имеет пристанища. Но должен же быть на свете такой уголок, где Ундерлип сможет переждать, пока эти каналы сломят себе шею, потому что жизнь не может идти без Ундерлипа, без биржи, без акций, без дивиденда.

Что такое счастье? Это доллары, фунты, франки. Они бегут, они поднимаются, они падают, и в этом игра жизни. А эти глупые мечтатели думают отменить деньги, акции, биржи, банки, ренту. Химеры. Бред. Их дело не стоит ни одного пенса.

Капитан Баррас слушает рассуждения Ундерлипа и кивает головой. Мистер совершенно прав. Красные заварили кашу на весь мир, но в конце концов разве можно уравнивать всех! С тех пор как капитан Баррас сделался владельцем вот этого чека, и этого перстня, и этой яхты, он имеет ясные взгляды на жизнь. Он разделяет мнения Ундерлипа, потому что он сам чувствует себя Ундерлипом. Он ступил на первую ступеньку той лестницы, на вершине которой стоит хлебный король, и он не хочет, он не допустит, чтобы эта лестница была перевернута верхом вниз.

Но команда яхты, очевидно, иного мнения. В каком-нибудь десятке миль от Гибралтара машинист отвечает на команду капитана Барраса:

— Баста!

И останавливает машину.

Кочегары бросают работу. Матросы покидают свои места. Повар уходит из кухни. И все собираются на палубу.

— Баста!

Ундерлип хочет применить разумные доводы, но капитан Баррас иного мнения. Он вытаскивает из кармана заряженный револьвер и, направив его в лоб машинисту, коротко и ясно говорит:

— Назад в машинное отделение или...

Машинист — коновод этого бунта. Он повторяет жест за жестом движения капитана Барраса. Тоже сует руку в карман. Тоже вынимает револьвер. Заряженный. Нацеливается в капитана Барраса и говорит:

— Назад в рубку и — к берегу!

— Мы хотим к берегу, сэр, — вежливо поясняет кок в белом колпаке.

— Да. Спустите нас на берег и убирайтесь ко всем чертям, — дополняет штурман, заложив руки в карманы и глядя смело в лицо Ундерлипу.

Его высочество смотрит на карманы штурмана. Подозрительные карманы! Может быть, у штурмана в каждом кармане по револьверу? Или вот у кока, карман тоже оттопырен.

И, забыв про свою потребность в кокаине, его высочество ощущает иную, еще более острую потребность и, сломавшись вдвое, бежит в уборную.

Лорд Рой провожает его высочество, выражая вслух заболевание состоянию августейшего желудка:

— Это от нервного потрясения, принц.

— Я боюсь... боюсь... — лепечет его высочество и, сморщившись от нового желудочного приступа, ныряет в дверь уборной.

— Послушайте, — обращается лорд Рой к команде, — известно ли вам, что на этой яхте находится наследник престола...

Машинисту известно, что в Англии уже нет никакого престола. Машинист презирает все высочества на свете.

— Ради этой кикиморы, которой вы лижете зад, мы не станем рисковать нашими головами.

— Верно, Пэн, верно! — одобряет его команда.

И еще раз Ундерлип вспоминает свою теорию о лошади с ведущим ее клоком сена перед носом. Но как можно больше искренности в голосе. Как можно меньше нервов.

Он называет их своими друзьями: «мои друзья!» Машинист, штурман, матросы и даже пахнувший салом и мясом кок — друзья короля Ундерлипа. Знают ли новые друзья Ундерлипа, что значит «чек на предъявителя»?

Это такая бумажка, по которой банк без всякого промедления платит деньги долларами, фунтами, в какой вам угодно валюте.

У Ундерлипа, разумеется, нет лисьего хвоста. Нет никакого хвоста вообще. Но он мысленно виляет хвостом.

— Какие там, к черту, банки! — прерывает машинист Ундерлипа. — Ни в Европе, ни в Америке нет больше вампиров.

Разве Ундерлип говорит своим милым друзьям о европейских или американских банкирах? Нет... Он имеет в виду австралийский банк, а если угодно, то японский или китайский. Деньги — везде деньги. Стоит только предъявить вот такую бумажку.

Ундерлип потрясает одной рукою чековой книжкой, а другой вытирает пот со лба и шеи. В евангелии что-то сказано о верблюде и игольном ушке: верблюду почему-то непременно нужно было протолкнуться через ушко иглы. Это, должно быть, легче, чем хлебному королю пробраться в Австралию при столь несчастливом стечении обстоятельств. Но брешь все же пробита.

Кок выступает вперед и, дыша в лицо короля хлеба перегаром водки, говорит:

— Я понимаю мистера так: мистер желает выдать нам чеки, чтобы мы отказались от своего намерения высадиться.

Ундерлип берет кока за пуговицу его белого халата.

— Я всегда замечал, что вы очень умный человек, мистер, э... э... э...

— Мистер Клейн, — подсказывает, ослабившись, кок.

— Да, мистер Клейн, вы умный человек. Я всем вам выдам чеки на крупные суммы.

Раз разговор идет о деньгах, то нужно револьвер спрятать в карман. Машинист так и делает. Он ничего не имеет против чека в кругленькую сумму. Например, в сто тысяч долларов.

— Правильно, Пэн! Браво, Пэн! — одобряет команда. Ундерлип добродушно похлопывает машиниста по плечу:

— Эх, простота! Что такое сто тысяч долларов? Плевок! Сейчас я напишу всем вам чеки на сто тысяч долларов. Всем! Даже юнге. А если вы благополучно доставите нас в Австралию, то я добавлю, господа, добавлю.

Так как положение спасено, Ундерлип позволяет себе сказать маленькую речь на тему о революции. Революция нужна бездельникам. Ундерлип уверяет своих милых друзей, что честный человек и без революции может найти свое счастье. Разве кому-нибудь закон запрещает богатеть? Богатеите, мистеры, богатеите, сколько вам угодно.

Он рассуждает о революции и пишет чеки. Он вырывает из чековой книжки чековые листки, рассуждая о революции, раздает их всем, даже коку, даже юнге.

У его высочества желудок опять в нормальном состоянии. Его высочество грозен.

— Канальи! — кричит он. — Бунтовать? В моем присутствии? Погодите, я вам покажу бунтовать.

Он храбро наступает на кока. Кок отступает к борту. Его высочество притискивает кока к перилам и тихо спрашивает:

— Послушай, кок, есть ли у тебя хоть одна понюшка кокаина? Если ты достанешь мне хоть одну крошечку кокаина, я назначу тебя королевским поваром.

— Нет, кокаина у меня нет, — отвечает кок.

— Тогда ты будешь повешен рядом с этими канальями, — говорит его высочество.

Ундерлип идет к себе в каюту, садится на стул. Хохочет: хо-хо-хо-хо-хо!

И громко зовет:

— Дик, Дик!

— Что угодно мистеру?

— Все люди — идиоты.

— Если мистеру угодно?..

— Да, мне угодно, потому что я король. Что?

— Мистер говорит правду. Мистер — король.

— Даже сейчас, в скитании, я тоже — король.

— Правильно, мистер.

— Вы знаете почему, Дик?

— Потому что вы Ундерлип и умрете Ундерлипом, — отчеканивает Дик.

— Дурак! — цедит сквозь зубы Ундерлип.

— Если мистеру угодно?..

— Я король потому, что могу купить человека. У принца крови в опасности происходит дизентерия желудка, а у хлебного короля только дизентерия чековой книжки. Хо-хо-хо-хо-хо!

— Хи-хи-хи!

— Я могу купить человека. Дик. За сто тысяч долларов. Я раздал сейчас чеков на два миллиона. И купил всех, до юнги включительно. А теперь... х-хо, х-хо! Я их всех одурачу. Перо и бумагу, Дик.

Ундерлип пишет на бланковом листе бумаги в австралийский банк. Он имеет честь предупредить правление австралийского банка, что чеки за такими-то номерами, выданные им, Ундерлипом, на предъявителя такого-то числа в такую-то сумму, недействительны.

А посему Ундерлип приказывает австралийскому банку по означенным чекам не платить ни одного цента.

Сложив бумагу вчетверо и скрепив ее сургучною печатью, Ундерлип передает ее Дику.

— Как только мы причалим, вы немедленно отправляйтесь в банк и передайте эту бумагу директору банка. За это вы получите сто тысяч долларов, Дик.

— Чеком, мистер?

— Хо-хо-хо! Нет, наличными, Дик.

Великолепная идея! Король Ундерлип сильнее всех королей в мире. Он может раздавать сотни долларов. Триллионы. Лишь бы хватило чековых бланков.

В прекрасном расположении духа выходит Ундерлип на палубу.

Совершенно черная ночь. Ни зги. Яхта летит. Далеко ли еще до Гибралтара? Ундерлип забирается на мостик к капитану Баррасу.

Капитан Баррас ворчливо перебирает всю родню черта. Гибралтар? Пусть мистер поцелует кота в нос. Зачем? Это так говорится. Короче — плакали денежки капитана Барраса. Опять почему? Если бы яхта была даже иглою, она не проскочит Гибралтар.

Ундерлип ничего не понимает. Капитан снова рекомендует ему поцеловать кота в нос. Разве мистер ослеп и оглох?

Нет, он не ослеп. Он видит на западе вспыхивающие зарницы и алое зарево. Он слышит отдаленную орудийную пальбу. Итак?

— Итак, черт возьми! — ворчит капитан Баррас. — В Гибралтаре идет бой. Нам в это пекло соваться нельзя. Что будет с моим чеком, мистер?

Ундерлип предлагает капитану применить «штучку».

Ведь капитан уже дважды доказал, что он умеет выходить сухим из воды. Милый капитан Баррас — великий стратег, и когда настанут лучшие времена, Ундерлип поможет ему найти настоящую дорогу.

— «Штучки» не помогут. Если там идет бой, то пролив минирован. Вы хотите взлететь на воздух?

Нет, Ундерлип не любит полетов. Ему холодно от одной мысли об этом.

— Мы идем на юг, капитан Баррас, — излагает он новый рейс. — Может быть, мы высадимся в Капландии. В крайнем случае вокруг Африки, Индийский океан, Австралия.

Капитан Баррас свистит:

— Ф-фью! Поцелуйте кота. А нефть? У нас нефть на исходе.

— Мы где-нибудь погрузим несколько сот тонн нефти.

— Так вам и дадут ее взять.

— Контрабандой, капитан. Я уплачу большие деньги.

— Чеком?

— На предъявителя, капитан.

Яхта меняет курс. Капитан Баррас хмуро треплет свою огненную бороду и тяжело думает о чем-то. Мысли человека скрыты, но когда Ундерлип спускается с мостика, капитан Баррас тычет вслед ему кулаком в воздух и шипит:

— Ну тебя к черту с твоими чеками. Погоди, я надумаю штучку.

— Необходимо пойти немедленно на уступки.

— Никаких уступок.

— Но мы не уверены в войсках, маршал.

— Иного выхода нет, господа, как сражаться до тех пор, пока на нашей стороне останется хотя бы один солдат.

В зале заседания горит керосиновая лампа. Она стоит на длинном столе, покрытом зеленым сукном, заваленным картами, бумагами, эстафетами. Господин президент бел, как эти бумаги, а временами зелен, как сукно, покрывающее стол. Маленький, сухонький маршал блестит очками и морщит желтый лоб. Сенаторы и депутаты, собравшиеся в этот зал, ежатся, точно от озноба, и озираются на плотно занавешенные окна.

Париж погасил огни и притаился в темноте. С окраин доносится ворчание орудий. Третья неделя, как они громят осажденный центр, сжимая его все теснее и теснее в огненном кольце.

Маршал взбешен и кусает синие губы. Эти банкиры, фабриканты, лавочники бесконечно трусливы и связывают его по рукам и по ногам.

— О каких уступках может идти речь? — спрашивает он, сдерживая свое негодование. — Они требуют все.

— Мы не выслушали их парламентаров, — возражает президент, трепля дрожащими пальцами свою остренькую белую бородку.

— Да, да, мы не выслушали парламентаров, — подхватывают депутаты и сенаторы. — Мы должны их выслушать.

Маршал выбрасывает несколько коротких гневных фраз. Когда положение совсем почти безнадежно, надо сдаваться или сражаться до конца. Что могут дать переговоры? Лишнее доказательство нашей слабости. Итак, желают ли господа продолжать сопротивление, или сдаться?

Президент проводит руками по своей шее. Он чувствует на ней прикосновение веревки.

— Нет, нет! Сдаться — никогда!

Маршал щурит глаза под очками и, неожиданно махнув рукою, решает:

— Хорошо, выслушаем парламентаров.

Парламентаров приходится ждать очень долго, слишком долго. Президент бегает по залу и время от времени пощупывает свою шею. Вдруг останавливается. А что, если они откажутся от переговоров! Эту мысль президент высказывает вслух. Маршал пожимает плечами.

Шаги... Несколько пар каблучков стучат по каменной лестнице. Остановились. Караульный офицер говорит что-то коротко часовым у двери. Дверь открывается.

Вот так парламентары! Обыкновенные блузники. Три человека в стоптанных сапогах и в блузах.

Маршал ворчит и отходит в сторону. Он не станет разговаривать с этой сволочью.

Пусть говорит с ними президент.

— Вас уполномочили вести с нами переговоры, господа?

— сладким голосом спрашивает президент, округлив свою спину в угодливом поклоне.

Рыжий бородач выступил вперед, откашливается в свою твердую черную ладонь.

— Господин президент говорит о переговорах? Тут есть некоторая неточность. Парламентары уполномочены предъявить ультиматум.

— Вот как! Ультиматум?! — круто повернувшись на каблучках и звякнув шпорами, насмешливо восклицает маршал. — Вы слышали, господа? Ультиматум! — обращается он к собранию.

— Да, ультиматум, — подтверждает бородач. — Так я говорю? — переспрашивает он своих товарищей.

— Верно, ультиматум, — повторяют они.

— Излагайте, в чем дело, — предлагает президент хриплым голосом.

Бородач краток.

— Немедленно сложить оружие. Без всяких условий.

— Мы не хотели бы разрушить центр бомбардировкой, — добавляет второй парламентар.

— Воздушной бомбардировкой, — добавляет третий.

— Воздушной?!

— Воздушной.

— Что такое?! Воздушной?!

Сенаторы, депутаты и президент в оцепенении. Маршал опять повернулся и, вытянувшись на цыпочки, глядит через плечи сгрудившихся депутатов на блузников.

Рыжий бородач становится щедрее на слова.

— Над Парижем находится русский воздушный флот. Немецкая красная армия перешла Рейн.

— Немецкая красная армия?! — маршал сморщил лоб. Снял очки. Протер их. Опять надел. — Красная?

— Разве она уже красная? — спрашивает президент. Он явно чувствует шероховатую, колючую веревку, сжимающую его шею, и срывает воротник с запонки.

— Да, красная. В Германии все кончено, — говорит бородач.

— Чего вы хотите? Мы готовы на уступки, — хриплым шепотом говорит президент.

Бородач повторяет фразу маршала, сказанную полчаса тому назад.

— Никаких уступок. Прекращение военных действий. Выдача оружия. Все.

Маленький депутат-социалист, Леон Колье, подкрадывается по-кошачьи к бородачу. Хлопает его по плечу. — Товарищ!

Бородач стряхивает плечом его руку.

— Здесь нет ваших товарищей.

— Я социалист.

— Если вы социалист, почему вы здесь?

— Потому что это безумие, товарищ. Социализм не делают пушками.

Все три парламентаря хохочут. Они нисколько не стесняются этого высокого собрания.

— Ха-ха-ха! Старая штука!

— Будет втирать очки, приятель!

— Ха-ха-ха!

Президент морщится:

— Однако надо соблюдать приличия, господа.

— Отложим приличия до следующего раза, — говорит бородач. — Мы даем полчаса на обсуждение нашего ультиматума. До свидания.

Все три парламентаря уходят. Но вслед за ними выходит маршал. Из-за двери слышен его громкий голос и сухой деревянный ответ офицера:

— Слушаюсь, генерал.

Президент произносит короткую речь. Игра проиграна. Надо спасать головы. И если господа дорожат своими головами, то...

Господа дорожат своими головами и прерывают речь президента гудом:

— Да, да, чем скорее, тем лучше.

— Не надо раздражать их...

— Немедленно.

— Выговорить личную неприкосновенность.

Топот солдатских ног. Звяканье винтовок о подсумки. Команда. Обе половинки дверей с треском распахиваются. Стальная щетка штыков. Маршал с револьвером в руке входит в зал.

— Вы арестованы, господа.

— Кем? По какому праву?.. — восклицает президент.

— Мною, — отвечает маршал.

— По какому праву? — снова переспрашивает президент.

— По праву войны. Вы хотите сдать черни. Армия хочет воевать. Власть временно взята мною. Извините, господа, вам придется пробыть под арестом до тех пор, пока я не доведу дело до конца.

Он поворачивается по своему обыкновению на каблуках и выходит из зала. Офицер командует. Солдаты входят в зал и располагаются у его окон и дверей.

А в это время воздух наполняется долгим протяжным фырканием. Оно падает как-то сверху, точно с неба. Слово десятки моторов работают над крышами, шпилями и куполами в Париже.

У перил летательной машины — человек, зашитый в кожу, с кожаным шлемом на голове. Ослепительный круг рефлектора разворачивает белую ленту света. Она прорывает темноту и скользит вниз. В глубине тысячи метров скользящий меч света выхватывает прямоугольники кварталов, сжатые каналами улиц, кудри Булонского леса, стальной извив Сены, паутинную пирамиду Эйфелевой башни, чугунное плетение мостов.

По черным улицам медленно плывут огненные червячки: военные отряды и артиллерийские парки передвигаются по улицам, освещают путь факелами.

Париж рокошет, швыряет вверх раскаленные комья чугуна и стали, взмывает к небу багровые взметы огня. Человек в коже смотрит в бинокль. Улицы перегорожены колючей проволокой, покрыты, нагромождены; сверкая короткими молниями ружейного огня, люди мечутся, рассыпаются и снова сливаются в колонны.

Человек в коже прикладывает к губам свисток. И воздух прорезается звонким, трепещущим свистом. И в эту же минуту слева, справа, позади — со всех сторон доносится трепетание винтов, темные громады слетаются отовсюду к дирижаблю, на котором стоит человек в коже; перемещаются в воздухе, в вышине тысячи метров, и выстраиваются треугольники с дирижаблем у вершины.

В кабине дирижабля — командующий воздушной эскадрилей Николай Баскаков. Пол кабины стеклянный, и под ногами, точно на рельефном плане, лежит Париж. Десятки рефлекторов нащупывают его улицы, площади, бульвары, площадки, мосты. На столе разостлана карта Парижа, утыканная булавками и флажками, белые и красные.

Николай Баскаков диктует:

— Площадь пирамид — белые. Предмесья — красные.

Его адъютант переставляет флажки. Белые флажки сучились в центре, красные обступили их со всех сторон и сжимают их теснее и теснее.

Баскаков нажимает рычажок фоторадиофона и кричит в приемник:

— Площадь пирамид — белые. Атака! Начинай!

Фыркание пропеллеров. Машины, точно по воздушным ступеням, все враз падают вниз до самых крыш и куполов и, сбросив на Площадь пирамид сотню бомб, стремительно взмывают вверх, спасаясь от воздушного вихря, поднятого взрывами.

Что-то рвется, рушится там внизу. Над Площадью пирамид подымается багровое зарево.

И опять Баскаков диктует:

— Площадь пирамид — красные. Предмесья — красные. Площадь Согласия белые.

Белые флажки сжались тесно на одном клочке карты. Красные флажки охватили их.

Два десятка бронированных аэропланов, маленьких, юрких, ловких, отделяются от эскадрильи, скользят вниз, реют совсем низко над домами. Это воздушный пулеметный отряд. Пулеметы сыплют свинцовый горох. Он щелкает по крышам, по мостовым, по панелям.

Внизу установили зенитные орудия. Огненные борозды режут небо. Шрапнель рвется, разбрызгивая огненные осколки. Один аэроплан накренился, вспыхнул пламенным веером, перевернулся и ринулся вниз, оставляя за собой светлый хвост дыма. От аэроплана отделилась маленькая черная фигурка, перевернулась несколько раз в воздухе и упала в темноту улицы.

— Красные прорвались в центр, — диктует Николай Баскаков.

Красные флажки заняли уже всю карту Парижа. Белые гнезятся отдельными горсточками, вкрапленными там и сям. Зенитные орудия замолкают. С головного дирижабля пускают красную ракету. Ответный огненный дождь ракет

поднимается над всеми аэропланами и дирижаблями эскадрильи. Мощный мегафон гремит с дирижабля командующего:

— Слушай! Ко мне!

Эскадра перестраивается в каре. В центре — главный дирижабль. И опять гремит мегафон:

— Слушай! Победа!

Со всех воздушных кораблей грохочет усиленный мегафонами революционный гимн;

— Вставай, проклятьем заклейменный...

Мощные звуки падают вниз, с вышины тысячи метров призывно рассыпаясь по улицам Парижа. И тысячи тысяч рабочих там, внизу, покрытые пороховым дымом, прекращают стрельбу и, обнажив головы, ответно поют, подняв к небу просветленные лица:

— Это есть наш последний и решительный бой...

XIX

— Военное судно.

— Вымпел?

— Красный.

— Черт побери, опять красный! Везде красные! — Ундерлип в бешенстве и страхе. Революция вездесуща. Она опережает яхту. Она разносится по радио, бежит по телеграфным проводам, летит по воздуху. На параллели Азорских островов — красный вымпел.

— Давайте флаг! — истуканно кричит Ундерлип. Красный! Самый красный! Густо-красный! Кроваво-красный, черт вас возьми!

На яхте взвизгивает красный флаг. Капитан Баррас на мостике ухмыляется:

— Г-м, г-м, припекло. Миллиардер и принц под красным флагом. В конце концов, черт и его бабушка, любопытно, чем это кончится.

Военный корабль сигнализирует. Капитан Баррас читает сигнал и командует:

— Тихий ход.

— Что? Тихий ход? — Ундерлип не согласен. — Максимальный! Максимальный ход! Надо улепетывать.

— Нам сигнализируют остановиться. Мы должны подчиниться, — заявляет капитан Баррас.

— Подчиниться? — Ундерлип требует... Нет, не требует, а просит... Умоляет, если хотите. Наименьший ход.

— Среди бела дня мы никогда не улизнем, — пожимает плечами капитан.

— Чек на миллион, капитан.

— Попробую, но предупреждаю: нефть на исходе. Если попытка удастся, у нас не останется ни фунта нефти.

— Скорее! Скорее!

Капитан Баррас отдает команду. Яхта вздрагивает всем корпусом и устремляется вперед. Лопасты винтов бешено дробят воду.

Бум!

Глухой удар сотрясает воздух. Ядро с шипением падает в воду в двух шагах от яхты, подняв вверх облака пара. Яхта накренивается и сейчас же упруго выравнивается.

— Стоп! — командует капитан Баррас.

— Почему стоп? Почему, черт бы вас взял?

— Потому что нас разобьют в щепки. Быстрее ядра нет хода.

— Значит?

— Значит...

Ундерлип бежит в каюту. Бумаги, бумаги! Он выбрасывает их из ящика стола и сует за драпировку, под ковер, под шкаф. Его высочество! Да, да, скорее!

Ундерлип бежит в каюту его высочества. Его высочество и его свита должны спуститься в трюм. Матросское платье. Оно дурно пахнет? Запах не имеет значения. Или напротив: имеет значение. Чем хуже пахнет, тем лучше.

Его высочество глядит стеклянными глазами на Ундерлипа. Он ничего не понимает.

— Кокаин! У вас есть кокаин?

— Да, да, будет кокаин. Наденьте это платье.

Его высочество впал в полный идиотизм и покорно подставляет ноги и руки спешно одевающему его лорду Рою.

Военное судно — в нескольких десятках шагов от яхты. Капитан Баррас вбегает в каюту его высочества и грохочет ругательства.

— Черт и его бабушка! Разве этот маскарад поможет? У революционеров на плечах не капуста, а головы. Они спросят документы.

— Что же делать? — растерянno лепечет Ундерлип.

— Лезьте в цистерну из-под нефти, — советует капитан.

Ундерлип, король — в нефтяной бочке! Принц, наследник английской короны — в нефтяной бочке! И лорд Рой. И свита его высочества. Измазавшись с головы до ног в нефти, задыхаясь от нефтяной вони, они сидят, притаившись в цистерне, и со страхом прислушиваются к шагам на палубе.

Король хлеба! Нефть затекла за его воротник, пропитала его шелковое платье и ест его холеное, жирное тело. Долларами, настоящими долларами заплатил бы он за то, чтобы не сидеть в этой бочке. Половину состояния. Все состояние. Разве жизнь — это доллары?

Король хлеба плачет. Да. Да, настоящими слезами. Льются из его маленьких щелок-глаз, падают на измазанную нефтью грудь. Слезинки, не смешиваясь с жирной нефтью, застыли на его груди круглыми алмазными горошинками.

А там, наверху, офицер осматривает документы. Капитан Баррас ерошит свою золотую бороду.

— Отчего вы не остановились, когда вам сигнализировали? — допрашивает офицер капитана.

— Черт и его бабушка! — подбадривает себя капитан Баррас. — Я не заметил сигнала.

— Ваш рейс?

— В Мадеру.

— Откуда? Пропуск.

Капитан пускает в ход «штучку»:

— Яхта, извольте видеть, вышла из Нью-Йорка за два дня до этой каши.

— Сказки! Где вы мотались десять дней, капитан?

Да, загнул! Где они мотались десять дней? Нельзя же сказать этому красному, что они все время улепетывали от красных.

Капитан Баррас изворачивается:

— Была авария. Яхта ремонтировалась.

— Где?

Это не штука, что капитан знает океан, как свою каюту, и может назвать любой островок на нем. А вот штука назвать такое место, где за эти десять дней и не пахло революцией. Но... смелости, смелости больше. Капитан Баррас называет наудачу маленький островок на Атлантическом океане.

— Мы чинились там пять дней.

— Я полагаю, что вашу яхту надо арестовать, — раздумчиво произносит офицер.

— Зачем? Мы все равно далеко не уйдем, — опять пускается на «штучку» капитан Баррас. — У нас совсем нет нефти.

Сказал и прикусил язык. А вдруг офицер задумает проверить цистерны с нефтью. Ведь в пустой цистерне имеется знатный груз: принц крови и король хлеба. Хорошая добыча для красных.

Так оно и происходит. Офицер идет в трюм с электрическим фонариком в руке. Капитан Баррас исключительно словоохотлив. Он обращает внимание уважаемого офицера, что эта яхта отличается исключительной быстроходностью и сопротивляемостью переборок. Он высчитывает количество лошадиных сил машины и рассказывает об особенностях конструкции ее котлов. Он предлагает офицеру попробовать вот эти сигары, настоящую гавану.

— Какой аромат! Какая мягкость табака! И обратите внимание на плотность пепла.

Офицер ощущает аромат и мягкость гаваны и обращает внимание на плотность ее пепла, а капитан Баррас юрко снует между цистернами. Щелкает по цистерне, в которой сидят его пассажиры. Она издает глухой звук.

— Пустая, — говорит он и рискованно предлагает: — Может быть, вам угодно заглянуть внутрь?

— Не стоит. По звуку слышно, — отвечает офицер.

У-ф-ф! Отлегло! Словесный поток капитана Барраса сразу иссякает. Офицер, осмотрев трюм, прощается с капитаном.

— Причальте к Мадере и дальше не пускайтесь без пропуска в путь. Вот вам удостоверение, что ваше судно осмотрено. Оно действительно до первой стоянки.

Офицер козыряет. Капитан тоже козыряет. Военное судно снимает трап и уходит. Из трюма, измазанные нефтью, выползают пассажиры капитана Барраса.

Король — снова король. Разве он плакал? Ничего подобного. Он выпрямляет спину и громко, по-королевски приказывает:

— Дик. Долой с меня эту дрянь! Ванну!

Приняв ванну и переменив платье, он надевает не кепку, а цилиндр. Он, король, окончательно уверовал в свою звезду.

Машина молчит. Винты замерли. Топлива больше нет.

Ни литра нефти. Яхту несет течением. Куда? Зачем? Может быть, ее прибьет к берегу? Но может быть, ее отнесет в открытый океан. Может быть.

Начинается шторм. Море бугрится и вздымает зеленые бугры. Яхта всползает на водяные горы и скользит с их гребней вниз между двумя водяными стенами. Может быть, ее разобьет штормом, как яичную скорлупу? Может быть...

Его высочество лежит на качающейся койке в каюте. На желтом лице застыла бессмысленная улыбка. Засохшие, потрескавшиеся синие губы шепчут:

— Кокаин... Я умираю... Дайте мне кокаин...

Капитан Баррас бегает по палубе. Зачем он взялся за эту историю. Ведь он не король, не принц, не лорд, а просто капитан. Всего-навсего. Чеки? Хе-хе! Чего они стоят? Пустая бумажка! Химера!

Ундерлип сидит на ванте, на веревках. Он беднее последнего нищего. Он больше не король. У него нет ничего. Ни-че-го! Даже нет слез.

— Берег! — доносится с рубки.

Яхту несет к берегу. Суровые скалы, белое кружево пены у их ног. Волны ударяются о каменную грудь, разбиваются в седую пыль. Они взлетают вверх серебряным облаком.

Если яхта ударится о берег, ее разнесет в щепки. Но машина умерла, винты молчат... Яхта разобьется о скалы.

Король хлеба, миллиардер Ундерлип, безучастен.

Пусть! Все пыль. Все сон — миллиарды, сила, власть и даже сама жизнь.

Яхта взлетает на гребень волны. Волна относит яхту от берега, точно делает разбег. И с размаху швыряет ее на острые зубы скал. И все... Мачта плывет и скачет на волнах. Что-то черное подпрыгивает у мачты. Цилиндр мистера Ундерлипа, короля хлеба. Цилиндр пережил короля.

ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ

Утопия Я. Окунева

Современники отзывались о Якове Марковиче Окуневе не иначе как уничижительно. «Незадачливый... Маленький, щуплый, без зубов... всегда в поисках денег, всегда кем-то обиженный... Партиец, лишенный какой-либо твердости... Он устраивал у себя литературные вечеринки, затеял издание альманаха “Новые берега”» — пишет Ю. Слезкин. «Кроткий, щуплый человечек, панически трусивший даже своей энергичной супруги» — подхватывает Н. Карпов.

Наиболее полно биографию Окунева проследил литературовед и библиограф И. Халымбаджа. Из его заметок¹ и других источников мы узнаем, что Окунев (его настоящая фамилия — Окунь) родился 6 (18) февраля 1882 г. в бессарабском городе Бендеры, в еврейской семье; отец — мелкий торговец. Окунев учился на историко-филологическом факультете Новороссийского университета в Одессе и с 1903 г. начал публиковать в периодике стихи и рассказы. Тем же годом датируется начало его участия в революционной деятельности, которое привело к исключению из университета, неоднократным арестам и высылке.

В «годы реакции» Окунев отходит от революционной борьбы и посвящает себя литературе. В 1914 г. в петербургском издательстве «Прометей» выходит его первая книга — сборник рассказов «Каменное иго». Книга, по мнению Л. Бать, автора неприязненной заметки об Окуневе в «Литературной энциклопедии» (1929-1939), «пестра стилистически и тематически. Неоформленные революционные настроения перемежаются декадентскими мотивами и безыдейным бытовизмом».

С началом Первой мировой войны... Что же произошло с началом войны? Как пишет в скандально-«разоблачительных» мемуарах «В литературном болоте» (ок. 1939) Н. Карпов — вошед-

¹ Халымбаджа И. Яков Окунь: Что мы о нем знаем? // Тигина. 1992. № 3 (43), 31 янв.; Харламов Т. [Халымбаджа И.]. Грядущий мир Я. Окунева: Заметки архивариуса // Наука Урала. 1984. 5 июля.

ший, кстати, в историю советской фантастики благодаря неприязнительному роману «Лучи смерти» (1925) – «мой приятель, писатель Яков Окунев, попал в военный госпиталь на испытание на предмет годности к военной службе, побеседовал там с первыми ранеными, благополучно вышел из госпиталя с белым билетом, освобождавшим от военной службы и, набравшись впечатлений, начал “шпарить” в газете “Биржевые ведомости” очерки с подзаголовком “Из впечатлений участника”. Если бы читатели вздумали по этим очеркам представить себе личность самого очеркиста, в их воображении встал бы свирепый, широкоплечий великан, нанизывавший на штык сразу по паре немцев».

Биографы указывают, напротив, что Окунев был призван в армию, участвовал в Галицийском походе 1914 г. и был награжден Георгиевским крестом. В 1915 г. в Петрограде вышли книги военных очерков «На передовых позициях: боевые впечатления» и «Воинская страда» («реалистический показ ужасов войны одобрен слащавым восхвалением героического патриотизма русской армии», комментирует Л. Бать).

Во время Февральской революции Окунев, по сведениям И. Халымбаджи, «участвует в перестрелках с городовыми», в июле 1917 г. вступает в РСДРП, кочует по фронтам Гражданской войны в качестве редактора газет при политотделах и затем оседает в Москве, где работает в газетах «Правда» и «Московский рабочий».

В 1923 г. Окунев публикует научно-фантастический роман «Грядущий мир». Роман, изданный с великолепными иллюстрациями Н. Акимова, остался наиболее заметным произведением писателя. Очевидно, сознавал это и Окунев и потому бесконечно варьировал темы и фабульные повороты романа – таковы книги «Парижская коммуна» (1923), «Газ профессора Морана» (1926), «Завтрашний день» (Москва, 1924) и «Катастрофа» (1927). В числе прочих фантастических произведений Окунева – рассказы «Лучи доктора Граала» (1923) и «Петля» (в книжном издании «Золотая петля», 1925–1926) и повесть «Суховей» (1930).

Счастливо начавшийся 1923 год печально закончился для Окунева – он был исключен из партии «за нарушение партийной дисциплины» и навсегда остался с пятном в биографии. Не помогли и романы «Грань» (1928) с описанием «идейного банкротства меньшевизма» (Бать) и подпольной борьбы накануне революции 1905 г., «Черная кровь» (1928) и «Святые вредители» (1929).

Окунев, от греха подальше, решает сменить тематику – в 1929–1931 гг. он публикует политико-этнографические книги «По Китайской восточной дороге», «В стране генералов и кули», «Там, где вос-

ходит солнце», «Зея» и «Кочевая республика», работает корреспондентом начавшей выходить летом 1931 г. газеты «За пищевую индустрию» (ежедневный орган Наркомснаба СССР и ЦК профсоюзов мясо-рыбо-консервной и маслособойной, мукомольно-хлебопекарной и кондитерской, сахарной и сельпромовской промышленности). Новая должность стала для Окунева роковой: редакция направила писателя в командировку в Караганду, по дороге он заразился сыпным тифом и умер в больнице Петропавловска 27 декабря 1932 г.

Статейка в «Литературной энциклопедии» заклеила Окунева как «типичного представителя той мелкобуржуазной интеллигенции, к-рая, примыкая к пролетарскому революционному движению в период его подъема, не срастается с ним органически, а остается невыдержанной и неустойчивой в своей революционности. Для О. характерны скачки от одного жанра к другому, поверхностная их разработка, отсутствие единой идейной направленности и эклектизм лит-ых влияний <...> он создал ряд идейно расплывчатых произведений на случайные темы». До 1980-х г. произведения Я. Окунева не переиздавались.

*

Роман «Грядущий мир», считая с иллюстрациями, занимает в первом издании 1923 г. менее 70 книжных страниц. И все же ни один уважающий себя историк и исследователь советской научной фантастики не прошел мимо этой книги, а В. Ревич даже объявил ее первым советским утопическим романом («Перекресток утопий: Судьбы фантастики на фоне судеб страны», 1998). Правда, критику пришлось тут же оправдывать за «присвоение утопии Окунева номера один» и упоминать о «Стране Гонгури» В. Итина (1920), а также особняком рассматривать вышедшее в том же году «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» Ив. Кремнева (А. Чаянова). Между прочим, и у этого, и у других исследователей фантастики в контексте утопий двадцатых годов не упоминается такое значительное произведение, как поэма В. Хлебникова «Ладомир» (1920) – поэзию «фантастоведы», за редкими исключениями наподобие В. Маяковского или В. Брюсова, традиционно игнорируют.

Наиболее толерантно отнеслись к роману Окунева Г. Прашкевич («Адское пламя», 2007) и И. Халымбаджа («Яков Окунь: Что мы о нем знаем?», 1992). Первый, чуть уstraшенный образами

Всемирного города и одинаково одетых мужчин и женщин – тот же, если на то пошло, современный «унисекс» – похвалил роман за динамично-гротескный стиль и увидел в нем изображение «поистине счастливого мира, единственной реальной драмой которого остается драма неразделенной любви. Впрочем, и такое несчастье – лечится». Стиль Окунева хвалит и И. Халымбаджа: «Написанные в броских “экспрессионистских” тонах (в “Грядущем мире” вмонтированные в текст газетные объявления набраны крупными буквами), с энергичным диалогом, без попыток психологической детализации характеров, в авантюрном ключе, книги Окунева читаются легко». Но для Халымбаджи роман –

своего рода документ эпохи, отразивший бытовавшие в 20-е годы представления о скорой Мировой революции, ее неизбежности и неотвратимости, о грядущей Коммуне в виде единого разросшегося города, покрывшего улицами всю сушу и «съевшего» всю природу, у которой силой вырваны все «милости».

Впрочем, Я. Окунь трезво понимал, что сделать абсолютно всех счастливыми неспособно никакое будущее общество.

Ныне книги Якова Окуня воспринимаются скорее как народно-плакатные. Одноцветные образы друзей и врагов, – без полутонов; скупой телеграфный стиль и твердая вера в близость (завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра) Мировой революции – во всем видны искаженные пропорции, смещенные и деформированные жизненные реалии. Желаемое сплошь и рядом выдается за действительность.

В известной статье «Фантастика, рожденная революцией» (1966) Р. Нудельман отмечает, что Окунев «сумел предугадать широкое развитие телевидения, биоэлектрического управления механизмами, гипнотического обучения во сне; он развивал гипотезу идеографии, то есть прямого мысленного общения; интересны высказанные им мысли о воспитании детей в обществе будущего, близкие к тем, которые в “Туманности Андромеды” развивает И. Ефремов». Однако,

психология людей будущего в изображении Окунева бедна, изобилует странными пережитками агрессивности, тщеславия (таков образ гениального ученого XXII столетия),

а общественно-социальные понятия не выходят за рамки вульгарно понятого «коллективизма»: человек счастлив, когда ощущает себя нужным винтиком общественного механизма. Несомненно, именно с этой массовой безликостью связаны и представления об отмирании семьи, половых различий и т. д.; в общем это дает цельную картину будущего как гигантской, четко организованной и технически могущественной, но обесчеловеченной коммуны. В ней нет главного – расцвета человеческой личности.

Мельком посетовал на «механический рационализм, который порой заслоняет человека» и А. Бритиков («Русский советский научно-фантастический роман», 1970). Но больше всего досталось Окуневу от В. Ревича, который в своей книге посвятил немало страниц «Грядущему миру». Здесь и насилие над природой, и «бездуховная научная гонка», и отсутствие «серьезной попытки рассказать хотя бы о науке будущего» и внутреннем мире людей XXII века, и тоскливый казарменный коммунизм, и «вивисекция души», и «вихри любовных кадрилией», и полная эрозия семейных и родственных привязанностей, и пропаганда насилия над природой, и воспевание «восторженно мычащего стада».

Вихри обвинений доходят до абсурда – Окуневу ставится в вину... «скрытое» цитирование Маркса. Словно коммунистическая утопия не есть, по определению, самая что ни на есть открытая цитация классиков марксизма! Зато другую скрытую «цитату» фантастовед не заметил – мечущийся в поисках рабочей кепки миллиардер Ундерлип в повести «Катастрофа», этот Ундерлип, завернутый в шарф – пародирует знаменитый маскарад тов. В. И. Ленина, принявшего в 1917 г. облик «рабочего К. П. Иванова».

*

Так что же – не все так просто? Как видно, не все.

Многие упреки в адрес Окунева верны и правомерны (хотя в публицистическом накале некоторые авторы забывают, что роман действительно является «документом эпохи» и отразил все ее искаженные представления о подобающем человеку будущем). Утопия Окунева, безусловно, тоталитарна. От наготы детей, подростков и их наставников до «идеографов» и одинаковых одежд

взрослых – во всем воплощен идеал тотального единообразия и *прозрачности*. Общество Окунева еще страшнее, чем кажется: изнаночная сторона этого счастливого нового мира – радикальная евгеника («безнадежно больных – идиотов, физических уродов – мы умерщвляем в младенчестве безболезненным способом») и карательная психиатрия будущего советского образца. «Только больные люди», объясняет ученый Стерн, не чувствуют потребности стать частью общественного механизма, и тогда – «мы их лечим...»

Да, Окунев честно воплотил в литературу большевистскую утопию. А воплотив, утопии испугался. Даже В. Ревич вынужден признать, что писатель «остался недоволен им же сочиненными порядками» и испытывал «известные сомнения в совершенстве придуманного им механизма». Свидетельство тому – не одна лишь беседа Евгении Моран со Стерном и «неудобные» вопросы девушки о воспитании детей и превращенных в «силовые единицы» людях. Роман последовательно воспекает *отличие*.

Отличен от других гениальный изобретатель Лессли. Отличаются от других Евгения и Викентьев. Причем эти «волосатые существа с грубыми, топорными линиями лица», восставшие от двухвекового сна, как выясняется, превосходят и красотой, и богатством внутреннего мира физически и духовно совершенных людей XXII века. «Женщины вашей эпохи красивы» – говорит Евгении Лессли, предпочитающий женственную мягкость и страдание гостыи из прошлого энергичности и самостоятельности безликих современниц. В финале романа Окунев выдает себя: эти страницы читаются не как триумф утопии, а как написанная задолго до Орвелла, орвелловская по существу история «сдачи и гибели русского интеллигента». Выбора у Викентьева нет – его прошлое умерло.

*

Впрочем, все достоинства и изъяны утопии почти столетней давности сегодня для нас очевидны. Неочевиден другой любопытный момент, который остался незамеченным фантастоведов. Самые проницательные из них бегло отмечали сходство утопии Окунева с «эрой Великого Кольца» в «Туманности Андромеды» И. Ефремова. Дело не только в поверхностном или глубинном родстве утопий как таковых и общих приемах жанра: Окунев, наряду с

А. Толстым, создал *прототипический роман* советской фантастики. Две сюжетных линии романа предвосхитили два ее магистральных направления – утопическое и революционно-героическое. Прошло совсем немного времени, и находки Окунева (а также, конечно, А. Мальшкіна, автора «Падения Дайра»), принялись тиражировать С. Буданцев («Эскадрилья всемирной коммуны», 1925), П. Н. Г. («Стальной замок», 1928) и другие авторы; особое значение имело для них описание воздушного налета советской авиаэскадрильи на Париж, повторенное Окуневым и в повести «Катастрофа».

Литература «последнего и решительного» боя мировой Коммуны и мирового Капитала просуществовала недолго. Тем временем разошлись по чужим текстам и другие элементы романа: М. Булгаков в «Собачем сердце», видимо, частично опирался на эпизод усыпления Викентьева, А. Толстой в «Гиперболоиде инженера Гарина» воспроизвел блуждающую по морям окуневскую яхту «Грядущего мира» и ее крушение у неведомых скал, изображенное в «Катастрофе» (должно быть, «красный граф», чьи герои чудом спаслись, ехидно посмеивался: «Э-эх, батенька – не догадались выбросить всю вашу теплую компанию на необитаемый остров...»). Фантастический идеограф, названный «идеовизором», появляется в «Гулливере у арийцев» (1936) Д. Штерна, писавшего под псевдоним «Георг Борн». Черты утопического общества взяли у Окунева и Ефремов, и братья Стругацкие: и в «мире Кольца», и в так называемом «мире Полудня» практикуется коллективное воспитание, юное поколение взрастает в интернатах, семейные и родственные связи нивелированы, труд и познание – пусть и без поющих толп под алыми знаменами – провозглашены смыслом бытия. Сам же роман Окунева, оказавший такое существенное влияние на советскую фантастику – оказался прочно, но не безнадежно забыт.

Примечания

Тексты произведений Я. Окунева публикуются с исправлением очевидных опечаток и некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. На фронтисписе воспроизведена обл. книги «Грядущий мир» раб. Н. Акимова.

Грядущий мир: 1923-2123

Впервые: Пг., изд. «Третья стража» для изд. «Прибой» , 1923.

Приводим редакционные либо авторские примечания к роману в этом издании:

С. 8. *Анабиоз...* Анабиоз – оживление животных, замороженных или засушенных на время.

С. 49. *...кессонах* – Металлический ящик, открытый снизу, который опускается на дно для строительных работ.

С. 49. *...озон* – Газ, получающийся от электризирования водорода. Уничтожает вредные испарения и микробы в воздухе.

С. 50. *...внутри-атомная энергия* – Все тела состоят из мельчайших частиц – атомов, обладающих силой взаимного притяжения и отталкивания. Эта сила и есть внутри-атомная энергия.

С. 52. *...электронов* – Мельчайшие частицы вещества – атомы состоят из частиц, называемых электронами.

С. 60. *...дураллюминия* – Дураллюминий – металлический сплав – легче и тверже алюминия.

С. 66. *...эмоция* – Эмоция – чувство, настроение.

С. 66. *...Юнгфрау* – Вершина Бернских Альп в Швейцарии, около 4 верст вышины.

С. 67. ...*Давос* – Давос – горная местность в Швейцарии с исключительно здоровым климатом для легочных больных.

С. 80. ...*пневматической почты* – Пневматическая почта пересылает корреспонденцию напором сжатого воздуха по трубам.

Катастрофа

Впервые: М.-Л., «Молодая гвардия», 1927.

Оглавление

Грядущий мир 1923-2123	6
Катастрофа	90
<i>М. Фоменко</i> . Двести лет спустя: Утопия Я. Огнева	198
П р и м е ч а н и я	205

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.